







УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Л61

Художественное оформление серии  
*Елены Околыциной*

**Липскеров, Дмитрий Михайлович.**

Л61 Туристический сбор в рай / Дмитрий Липскеров. — Москва : Эксмо, 2019. — 352 с.

ISBN 978-5-04-100016-5

Жизнь человека похожа на значок Инь-Ян: в каждом белом периоде есть капля черного и наоборот. Известный еще со времен «Вагриуса» прозаик Дмитрий Липскеров в новой книге рассказов и новелл показывает нам галерею человеческих судеб. Здесь и престарелый профессор, влюбившийся в стриптизершу; и бандит из 90-х, по иронии — полный тезка Корнея Ивановича Чуковского; и романтическая девушка Нора, которая покорила Москву, но нашла счастье, вернувшись к себе на Родину в провинцию... Липскеров выступает в необычном для себя амплуа рассказчика реальных историй, каждая из которых расширяется до настоящего романа.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Липскеров Д., текст, 2019  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-100016-5

## СОДЕРЖАНИЕ

*Пыль*

9

*Папа*

13

*Око за око*

20

*Незнакомец*

25

*Оригами*

28

*Лето*

43

*Дятел*

50

*Девушка и стрекоза*

52

*Ванечка*

54

*Дидло*

59

*Мальчик и раввин*

70

*Негр алеша*

79

*Такси*

88

*Тортик*

97

*Нора*

104

*Хороший день*

119

*Ревность*

129

*Кофейная мышь*

137

СОДЕРЖАНИЕ

*Дерево*

150

*Чуковский*

157

*Однокурсница*

174

*Хворь*

184

*Его женщины*

205

*Борюсик*

208

*Монета*

225

*Десерт*

241

*Блад*

256

*Куриный бульон*

273

*Двое*

288

*Пельмени*

298

*Туристический сбор в рай*

326



## ПЫЛЬ

В детстве его на «копейке», так автомобиль называли, возили в деревню с нехитрым названием Костино. Там он с пацанами ловил в речушке щурят и, щурясь на солнце, обедался сваренной прямо на берегу ухой. Собирал грибы и ягоды, помогал деревенским бабкам копнить сено, завел полную шевелюру вшей, которых потом выводили керосином, укутав голову для паровой бани женским платком. Здесь же, в Костино, случились у него и первые отношения с местной девочкой Тасей. Они ночевали на сеновале и слушали материнский радиоприемник, а он пытался целовать ее малиновые губы и проникнуть тонкими пальцами под ватник, отчаянно желая нащупать юную грудь...

Днями он с пацанами играли в карты в старом колхозном амбаре, от которого остались только стены и крыша, а пол был разобран до самой земли. Те, кто проигрывал, впрягались в проржавелый тяжеленный плуг и должны были пропахать борозду от стены до стены... Он любил сидеть с местными на завалинке и слушать охальные, до красных ушей, частушки, пить самодельный квас и тайком курить сигареты «Прима». Луна к вечеру всегда была ог-

ромной, с полей поднимался прозрачный туман, а спать не давали тщеславные соловьи.

А наутро солнечным светом залило весь мир. И уже птичий гомон вокруг невыносимый, и он под него рубает яичницу с огородной картошкой, впиивается в огромный помидор, лопающийся и истекающий соком.

Это было счастье.

Повзрослев, он уже сам добирался до Костино: сначала до города Владимира переполненной электричкой, затем на автобусе до городка Судогда, а от него на попутке к почтовому отделению «Бег». Здесь асфальт кончался, и пять километров нужно было идти деревенскими дорогами до своей избы — если только кто-то дружелюбный не ехал на телеге в ту же сторону и не прихватывал пешехода в попутчики. Только лошадь была недовольна лишним седоком и храпела от жары.

Обычно приходилось идти пешком. Если был жаркий день, он снимал обувь, связывал ее за шнурки, перебрасывал через плечо к дорожной сумке и отправлялся в путь.

Те, кто считает, что деревенские дороги — сплошная вековая грязь, правы только отчасти. Осенью и весной дороги размывает дождями, получается такая черная густая хлябь, что ни пройти, ни проехать. Зато в летние жаркие дни все это черноземье иссыхает и светлеет под могучими лучами

июльского светила, пока не превращается окончательно в белую пыль. Мелкая, будто аптекарская взвесь, почти зубной порошок, она манила к себе исходящим теплом, и тогда он, закатав до колен штанины, ступал в нее босыми ногами, будто в теплую воду, и шел по ней, улыбаясь миру.

Можно было остановиться и прислушаться к стрекоту кузнечиков, к полевым птахам, охраняющим свои гнезда, затем поймать самого большого кузнеца и, приставив к его головке палец, смотреть, как из крохотного рта насекомого выливается коричнево-пурпурная капля. Кузнечик спрыгивал с ладони в пыль, и он шел дальше.

Иногда кто-то куда-то торопился на лошади, и тогда пыль взметалась до самых небес, кружилась молекулами по всему миру, а потом оседала на волосы, плечи, джинсы... Один раз он видел ящерицу. Сначала она бежала по крепкой обочине, но, увидев чужого спрыгнула в нагретую зноем пыль и будто поплыла по ней как по реке. Он словно мальчишка погнался за ней, поскользнулся и проехался по пыли всей физиономией. Встал на ноги, держа в руке извивающийся хвост ящерицы... Где-то за лесом пели бабы, тархтел трактор, пахло цветочным медом, густыми басами жужжали шмели.

Это было счастье.

По каким-то обстоятельствам, строя семейную жизнь и работая после института, он лет десять не

приезжал в Костино, а когда в его душе случился раздрай, вдруг вспомнил о деревне, даже запах ее живительный учуял.

В субботнее жаркое утро он под свист электрички несся туда, где ему всегда было хорошо. Всю дорогу он представлял себе, как разуется, как закатает брючины и погрузит ступни в теплую пудру драгоценной пыли. Всю дорогу до Судогды он почти трясся от предвкушения. Доезжая на «зилке» к окончанию цивилизации, мужчина даже поднялся в кузове во весь рост, чтобы из-за последнего поворота увидеть всю широту своего мира...

За время, которое он отсутствовал, дорогу до деревни Костино заасфальтировали, и шофер мигом доставил его в родные пенаты. Он был бледен, как пыль в его прошлой жизни.

Единственное место в мире, тысячелетиями не тронутое цивилизацией, единственное, не нуждающееся в асфальтовой дороге, было изуродовано этой черной извилиной битума, ведущей к последней живой старухе в деревне.

Он вспомнил, что древние берберы поклонялись пыли, затем вызвал Яндекс-такси и уехал из прошлого навсегда.

## ПАПА

Он любил ездить в пионерские лагеря. Просто у него, как и у большинства советских детей, не было альтернативы. Только один раз его отправили в Евпаторию к какой-то родственнице Раисе в городскую квартиру. На море съездили два раза, иногда ели клюквенное мороженое. Вот и все, что вспоминалось из той поездки. Правда, лучше всего в памяти отпечаталось, что в квартире Раисы не закрывалась дверь в туалет. Имеется в виду на щекотку — она просто отсутствовала. Он, семилетний, справлял свои нужды под страхом, что одинокая Раиса за чем-то войдет...

Потом его пару раз отправляли в Абхазию, в Агудзеры, где он пробыл по три смены в каждый год. Ему понравился этот лагерь, так как свободы в нем было больше, чем у Раисы, а купались дважды в день, там он первый раз влюбился в девочку Свету, которая в тени громадного эвкалипта предложила показать друг другу свои «глупости». Он показал, а она нет — просто убежала, заливаясь смехом, а он в свои девять еще не понимал, что это предательство.

Он слегка подрос и по дружбе записался в духовой оркестр в Дом пионеров. Ему дали попроче-

бовать на трубе, затем на теноре, а потом, за неимением слуха, сослали на медный альт, функцией которого было производить из-за такта звуки типа «ум-ца-ца, ум-ца-ца». Зато друг оказался одаренным и через несколько месяцев играл на тромбоне различные соло.

Управлял домпioneerовским оркестром Вадим Вадимович, добрейшей души человек, лет пятидесяти, который почему-то носил прическу, как у Гитлера, а окурки называл «охнариками», а не как все «бычками». В то время у всех подростков был популярен такой стишок: «Покурил — оставь бычок, не бросай его в толчок, положи на унитаз, мы покурим еще раз». В том поколении детей все курили с десяти лет, даже трубачи-корнетисты, которым дыхалка нужна была, как у лошади.

Он ненавидел альт, да и весь оркестр, как человек, у которого нет даже малой способности к музицированию, но Вадим Вадимович Гитлер его не отчислял, так как в оркестре был вечный недобор, за который скашивали премии, а подросток не уходил из-за пионерского лагеря «Березка», куда духовой коллектив приглашали на все лето — полное обеспечение плюс пять рублей зарплаты за тридцатидневную смену, ну и конечно свободный график. Обычные лагерные плелись после обеда на тихий час, а они, музбанда, обожравшиеся котлетами и макаронами, бежали на Оку купаться. Ока

по большей части река мелкая, но с омутами. Один такой они знали и, раздевшись догола, без усталы прыгали в него с песчаного холма. А неподалеку на мели застряла баржа с рыжим матросом и усатым капитаном, у которого были две дочки-подростки. Девчонки в послеобеденное время ставили на носу баржи стульчики и с умилением смотрели на голую мальчишескую ватагу. Конечно, пацаны делали им непристойные жесты, даже те, которые еще сами не вышли из детства, подражали более взрослым, но девчонки не поддавались и продолжали сидеть на стульчиках, как в театре. У пацанов теплилась надежда, что наступит тот день, когда эти милые незнакомые создания потеряют голову и, раздевшись донага, попрыгают с баржи в прохладную Оку и будут плавать вместе с ними.

Но случился тот день, когда баржу ранним утром сдернули с мели и утащили куда-то в порт. После обеда, не обнаружив баржи на привычном месте, многие приуныли, грустно было даже самым маленьким...

Обязанностями оркестрантов в лагере было музыкальное сопровождение всех мероприятий пионеров. Игра на утренней линейке, на вечерней, в день Нептуна и на лагерных спортивных соревнованиях. Были особенные случаи — например, оркестр музицировал, сопровождая чью-нибудь драку. Играли бравурные марши, пока кто-то не

оставался лежать побитым на ярко-зеленом газоне. В эти моменты всегда игрался «Похоронный марш», где отличался жиртрест Гуркин, наяривая в медные тарелки. Тем самым коллектив давал знать администрации, что в лагере произошло ЧП.

На спортивных соревнованиях под стометровку коллектив исполнял вальс «Не спеши», разученный самостоятельно, за что на них, срывая горло до хрипоты, орал Гитлер:

— Сволочи! Паразиты! Вам Родина дала возможность, а вы охнарики собираете на железной дороге!!! А ну, «Славянку» пять раз!!!

С куревом в пионерском лагере было напряженно, и они действительно после подника отправлялись на железку собирать окурки. Сортировали по маркам и по длине.

Когда терпение концертмейстера лопнуло и он запретил покидать территорию лагеря под страхом немедленного исключения, они, дотягивая окурки до ожогов пальцев, прикидывали, как существовать дальше. Каждый отчитался за имеющиеся запасы, равные нулю, а он вдруг заявил, что у него кое-где, в дупле старого дуба, припрятана целая, еще в целлофане, пачка «Пегаса», самых популярных у пацанов сигарет. Просто выдумал парень, чтобы хвастануть, на минутку приковать к себе общее внимание, а затем признаться, что шутканул. Но так не вышло. Никто не обрадовался новости, а наоборот, лица



оркестрантов приняли выражение крайней серьезности.

Самый старший из них, барабанщик Сапрыкин, придвинулся к нему и переспросил:

— Так где, ты говоришь, «Пегасик» заныкал?

Уже в эти мгновения он понял, что произошло что-то страшное, неповторимое.

— В дупле...

— Так-так... А где дупло? — шептал Сапрыкин в самое ухо. Из его рта пахло могилой.

Альтист не знал — каким-то образом до него не дошла информация, — что еще в начале смены, в первые ее дни, какая-то сволочь стянула именно пачку «Пегаса», и теперь Сапрыкин объявил, что сигареты были общаковые, на черный день.

Первый раз его избили так, что он лишь через два часа отдышался. Велели вести к дуплу, и он, теряя сознание поплелся куда-то к лагерной ограде, и откуда-то издали на разные голоса доносилось лишь одно: «Вор!.. Вор!»

Его били каждый день, основательно и жестоко, поскольку «Пегас» так и не нашли, да и не было его, как известно. Две с половиной смены — это семьдесят дней. Даже друг-тромбонист разбил в кровь косточки кулаков... Весь в кровавых подтеках, хромящийся в столовую, он первые дни мучений удивлялся, что никто не видит его физических повреждений — или не обращают внимания. Адми-

нистрация лагеря не считала правильным влезать в дела духового оркестра. А самому пожаловаться в таком случае смерти подобно. Лишь один раз Гитлер собрал всех в актовом зале и полчаса орал, что его подопечные — садисты, лютые фашисты и не-люди. Тогда подростку показалось, что мучениям его настал конец. Но Сапрыкин ответил безбоязненно:

— Сам ты фашист!

— Что?! — закричал педагог. — Это я фашист?!!

Все знали что Гитлер не фашист, что прошел он всю войну, и не без геройства, так как на груди к пиджаку были прикручены потертые орденские планки.

Сапрыкин быстро нашелся и сказал про альтиста, что вор он, что украл общее, за то и получает справедливость. Все одобрительно загудели...

Последний раз его избили перед посадкой в автобусы, чтобы отбыть в Москву в связи с окончанием летних каникул и приближающейся осенью.

В Москве, возле телецентра, куда прибыла колонна, его встретил отец, взял за руку и повел к метро. Он был подшофе и безостановочно спрашивал про купание, кормежку и девчонок. А сын шел, чувствуя тепло отцовской руки, весь отбитый и почти убитый, с неоткрывающимися от гематом глазами, с ребрами, которые, казалось, плавали внутри него осколками. Все его тело было сизым и походило на

фиолетовую сливу... Он шел за отцом, под музыку его пьяной болтовни, и думал, что вот как все закончилось странно, не так, как ему казалось убиваемому, когда верилось, что наступит день и его отец отомстит всем, отмудохает вожатых, безмолвно допустивших пытки, вместе с ними и директора, и уроет в грязь Сапрыкина, который не верил в его невиновность и как старший руководил издевательствами. И не спасшего подростка Гитлера отец должен был расстрелять... А тот все шел с ним, ладонь в ладони, и безостановочно тархтел...

...Прошло лет сорок. Подросток вырос в мужчину и жил приличной жизнью, воспитывая детей, а потом и внуков.

Его восьмидесятилетний отец был еще жив, но сила воли за шестьдесят лет алкоголизма истончилась и улетела в небеса намного раньше души.

Он иногда звонил сыну и почти всегда плакался о своих бедах, ужасном здоровье, рассказывал, что у него кишочки на полтора метра длиннее, чем положено анатомией, что крепит его бетоном, что голова плоха настолько, что, вероятно, он скоро умрет.

В один из дней, прослушавший привычное отцовское нытье, вместо того чтобы привычно посочувствовать, он вдруг неожиданно ответил:

— Слава богу, что хоть у кого-то в нашей семье все хорошо!..

И повесил трубку.

## ОКО ЗА ОКО

Все было не так.

Жизнь не вырисовывалась, и в последний год думалось, что все будет ухудшаться до последнего завтрака в его жизни.

И Серафима, нежная, прозрачная и грустная, исчезла в неизвестность, унося прочь свои голубые глаза, которые он когда-то нежно целовал.

— Хер с тобой! — попрощался тогда. — Приползешь, сука!

Стал злым, как бабуин, бросался на всех по поводу и без оного.

Через год резко ушел с работы, с которой его отпустили с явной охотой. Хлопнул напоследок дверью так, что закаленное стекло треснуло, точно жизнь его.

Три года таскался ночами по городу, играл в карты, выигрывая и проигрывая, пил все, что ударяло по полушариям мозга кувалдой, дрался пьяно и с кем придется. Ему казалось, что он мокрый и липкий от постоянных случайных соитий с противоположным полом. Твари!

Мать на одной из случайных встреч у метро как-то сказала:

— От тебя пахнет вагиной! Даже когда ты звонишь — сквозь мембрану пахнет...

— Хочешь, чтобы от меня исходил тонкий аромат пидорской жопы?

Обидел ее, впрочем, не в первый раз.

Часто унижая мать, сам понимая, что не за что, не стыдился этого вовсе, а она всегда в такие моменты смотрела прямо ему в глаза и будто задумывалась, как же он получился таким... от выдающегося отца, седовласого красавца, демона с черными глазами, придумавшего новейший военный самолет. Может, из-за того, что конструктор был старше ее на тридцать два года, а она, профессорская дочь, воспитанная в скромности и достоинстве, пленилась пылкостью уже немолодого человека, слушая его рассказы о будущем цивилизации, о поколениях, тянущихся к прекрасному, будто демон-ученый сам явился из будущего? Двадцать шесть лет как без него... Может, слияние старости и юности дали такой плод? Чего-то там смешалось не так...

Мужа-конструктора мать не любила, но безмерно уважала. Может, из-за этого компромисса остался неизвестной породы взрослый сын, которого безмерно *не* уважала, но любила, как всякая нормальная мать. От нерастраченного чувства, наглухо запертого в душе судьбой, рано состарилась и ничего от жизни более не ждала. Ее сын был не из будущего, не из прошлого — откуда-то издалека, сбоку,

чужой. Всю жизнь прожил гадко, злобно, циником, равнодушным ко всему на свете. Разве что только с Серафимой был похож на человека...

Сегодня ночью он возвращался в свою квартиру-студию, переполненный алкоголем и горстью новых таблеток, сделавших его зрение пятимерным; от кадыка до пяток весь влажный, скользкий и вонючий, как...

— Да, мама! Как блядская вагина!

Ему хотелось блевать, пока он, трясущийся, с трудом открывал дверь ключом, который выпал из руки и, проехавшись по паркету, скользнул под кровать.

Отблевался до лопнувших в глазах сосудов и рухнул в нечистую постель — такой же нечистый.

В мозгу резануло молнией возмездия, он глухо охнул и отключился...

Через два часа в голове вновь вспыхнуло. В его сознании вдруг явился огромный кот, полосатый и с большими яйцами, которые животиная бесстыдно вылизывала длинным розовым языком. Котяра мурлыкал басом и, довольный, казалось, тащился от жизни. От неожиданной ненависти кишки вскипели плавленным свинцом — ты не охерел ли, блядь, в чужой квартире! — неожиданно проворно повернулся на бок, схватил полосатое мурло за задние лапы и что есть силы швырнул незваного кота о стену. Звук удара плоти о бетон был неприятным,

словно человек упал с высоты на асфальт, на мгновение запахло кровью, но тотчас тишина в помещении восстановилась и призрачное существо его вновь погрузилось в небытие.

Очухавшись часам к четырем полумертвой скотиной, уже тогда, когда начало темнеть от паскудного зимнего времени, отупелый, он побрел в ванную, где долго стоял под душем и тер уперто пальцем зубы, хотя щетка в стакане стояла здесь же, в двадцати сантиметрах. Голый, шатаясь от стены к стене, возвратился в комнату, глотнул из заварного чайника горькие, с плесенью, опивки и увидел на стене большое с брызгами крови и мозгов пятно. Под ним лежала мертвая тощая кошка Марта, которую ему оставила голубоглазая девушка Серафима. Он сел на стул и положил мятое лицо в пухлые ладони. Он не думал о мертвой кошке Марте, а вспоминал глаза своей далекой любви, растворившейся где-то там, в будущем, где его никогда не будет.

— Сука!

Он завернул Марту в полотенце и спустил в мусоропровод. Вернулся, посмотрел на окровавленную стену, вдруг опустился на пол, лег, поджав ноги, и завыл. Выл... Кричал, жалея себя.. Тарабанили в стену соседи... Потом, обессиленный, заснул — а проснулся, оборотившись кошкой Мартой. Вздернув ушами, он услышал, как входит в замок ключ, вскочил, загнул хвост кренделем, выгнул от опасности спину,

затем его повело боком и он спрятался от пьяного хозяина, юркнув под кровать. Следом проскользнул мимо ключ от входной двери... Он словно по-человечьи точно знал, что сегодня умрет, запущенный бейсбольным мячом в стену вместе со своими галлюцинациями о коте с большими яйцами.

Истребитель, созданный отцом, гордо летел в стратосфере.

Его мать осталась одна.

Похороните его в вагине.



## НЕЗНАКОМЕЦ

Каждое утро, смотрясь в зеркало, он говорил себе: это не я!

Чужой человек проживает со мной, человек с чужим лицом, даже не родственник. Пожилой и некрасивый, с плохо подстриженной бородой. Глаза уставшие и безразличные, седые брови разрослись...

— Это ты! — говорит она, глядя его щеку.

— Нет! — настаивает.

— Внутри ты.

— Внутри — да! А в зеркале — старый мудака.

— Ты строг к себе...

Смотрит на нее. Почти прозрачные кисти рук, вены из голубых превращаются в синие. Пятнышки, похожие на веснушки, на тыльных сторонах ладоней. Шоколадного цвета волосы прекрасно уложены, волосок к волоску, хотя он видел ее совершенно седой, взгляд — еще не безразличный к этой жизни.

Это не его женщина! Странная незнакомка поселилась в доме, вытеснив юную, прелестную девочку Аню, чьи губы он так жадно любил целовать. Видимо, они заодно друг с другом — этот мужчина и эта женщина. Они хотят выселить его из дома.

Он поехал Мясницкую, где жила прелестная девочка Марина, чьи губы он будет страстно целовать сегодня. Она знает, что ему тридцать пять, сама при знакомстве предположила. Он ни в коем случае не отказывался, сказав «почти угадала», но понимал, что в ее раскосых глазах свет двадцатилетней девочки и тридцать пять для нее просто немислимый, за-предельный возраст — сто лет!!! Край! Она никогда не гладила его щек...

А Аня уехала вместо подруги к восточному красавцу Тимуру.

Он провел день с Мариной, отлежав положенное на свежих простынях, пока она старательно трудилась за двоих.

— Ты иди! — пробормотал он. — Такси уже ждет!

— Ты у меня дома! — обалдела Марина, при-встав в кровати и демонстрируя великолепной формы грудь. — Или это шутка? Не очень я понимаю твой юмор!

— Забей! — предложил он и сам засобирился, с трудом надевая носки...

— Наш славный животик мешает! — просюсюкала любовница.

Губ Ани Тимур не целовал — она не позволяла. Он любил ее тело страстно, и это было похоже на правду. Она на несколько мгновений взлетела к небесам, затем рухнула вниз и стала злой. Выкурив

сигарету, роняя пепел в постель, оделась и, не сказав ни слова бедному Тимуру, солисту стрип-клуба «Красная шапочка», уехала.

Они встретились в столовой, дома. Она подошла к нему и, взяв в ладони его лицо, спросила:

— Ну что, узнал себя?

— Узнал.

— А меня?

— Ты моя Аня, — ответил он и поцеловал ее в губы.

Следующим утром он вновь обнаружил в зеркале незнакомое лицо, а в доме — незнакомую немолодую женщину...

## ОРИГАМИ

Мне было восемнадцать, и я отчаянно радовался первым летним студенческим каникулам. Со своим однокурсником по кличке Старый (он ко всем обращался, типа, «старый, послушай...», «старый, как ты?») мы решили отправиться покорять Ялту с помощью моей бабушки, которая работала в Союзгосцирке и имела экономическое влияние на все периферийные цирки. Бюджеты им согласовывала. Она и сделала нам койко-места в гостинице «Звездочка», что на горе за памятником Ленину.

На вокзале, помятых в плацкарте, нас встречал маленький плюгавый импресарио местного ялтинского цирка. На поводке он держал огромного черного дога, пыхал сигаркой и выглядел шпионом из черно-белого фильма.

— Для Симочки Изральевны я сделаю все! — обратился директор цирка ко мне. — А для ее внука — почти все! — И указал сигаркой на «Москвич-412», который и довез нас до гостиницы.

У нас оказался еще сосед, артист цирка, то ли жонглер, то ли эквилибрист, здоровенный рыжий парень с открытой улыбкой. Когда он по утрам умывался, я испытывал нервный срыв и хотел вер-

нуться домой. Его могучий торс и мускульная архитектура вводили меня в непроходящее уныние. В то время тело мое представляло собой длинную жердь без признаков мускулатуры с маленькими сосками на впалой прыщавой груди.

Слава богу, артиста мы видели только по утрам и редко, так как возвращались в гостиницу поздней ночью, когда представитель циркового искусства крепко спал. Режимил рыжий парень... А мы с товарищем нет. Вот и спали, когда артист уходил на репетицию.

Отдыхали мы, как все молодые люди нашего возраста, с минимальной копеечкой в карманах, зато открытые ко всему, что предлагала нам природа абсолютно бесплатно. Мы воровали персики из колхозных садов и обжирались ими, а потом, липкие, привлекающие мух и ос, бежали к морю и бросались в него, стремясь раствориться в изумрудной воде.

На второй день отдыха мы запросто свели компанию с общими знакомыми, у них оказались местные связи, и уже по вечерам на прохладном галечном берегу мы жарили мидий, собранных под причалом, пили местную брагу из все тех же персиков. В голову шибало, в груди закипала вся юношеская энергия, девчонки и мальчишки скидывали с себя все одежды и белыми теньями ночи вбегали в теплую воду Черного моря. Вот только мой одно-

курсник Старый не вбегал — просто сидел на берегу и смотрел куда-то в себя. Он закидывался димедролом и еще чем-то, брага его интересовала мало, не торкает, колеса ему казались круче. Мой сокурсник был странным парнем с белыми волосами, подстриженными в кружок. Разговаривал с гнусавинкой, на хипповском сленге, языке наших родителей, и все время сопел трехъярусным греческим носом, в котором навсегда поселился насморк, перешедший в гайморит. Видимо, от этого и гнусавил товарищ. На пляже, после купания, он тотчас, обернувшись полотенцем, переодевал плавки, что делали обычно старики, никак не второкурсники, тщательно выжимал их и вешал просыхать. Я, например, неделю мог не снимать плавки, мне было по барабану... На третий день Старый и вовсе исчез из нашей компании, я встречал его только в гостинице и на вопрос, где он пропадает, получал ответ:

— Старый, у меня все клево! — шмыгал носом. — Я там, чувак...

— Где?

Он больше не отвечал и засыпал на пружинной койке, облитый лунным светом...

Одним из поздних вечеров нас, нагих, застали врасплох пограничники. Мощные прожекторы, я тогда и не подозревал, что такие есть, осветили нашу обнаженку, будто был белый ясный день, а потом громкоговоритель приказал всем вылезать

из воды на берег, что мы послушно и сделали. Одежду приказали оставить и пройти в автобус. Кто-то пытался качать права, но ему отвечали металлическим голосом, что мы нарушили правила пограничной территории и теперь с нами разберутся в воинской части.

У меня была огромная проблема. Я никогда еще не видел в таком количестве голых девушек, которые после десяти минут поездки вовсе перестали стесняться своей наготы, а я жадно рассматривал их юные особенности. Сносило мозги еще и оттого, что девчонки сидели в компании голых парней, это было крайне эротично, как для меня, так и для молодых погранцов, нас сопровождающих. «Завтрак на траве» Моне.

Везли нас недолго, подталкиваемые сзади солдатами, мы вышли, встали на плацу, переминаясь с ноги на ногу. Девушки как могли прикрывали свои плюсы, а многие из парней защищали минусы.

А потом из казарм высыпали доблестные солдаты Советской армии, человек сто, и смеялись над нами.

— Козлы! — заорал старший из нас. — У меня отец генерал! Всех в Афган!

Здесь появилось командование во главе с пузатым, но бравым полковником. Офицеры лыбились во все тридцать два, а наччасти прокашлялся и велел отдать нам одежду.

Мы спешно оделись, и нас повели в какое-то здание, мрачное, с темными окнами.

«Расстреляют, — подумал я. — Как пить дать расстреляют...»

Металлическая дверь открылась, и тут здание вдруг вспыхнуло тысячами солнц, засверкало разноцветными гирляндами, огни бенгальские, хлопушки. Возле лестницы стояли вазоны с цветами и отдавали честь веселые прапорщики, на которых вместо штанов были разноцветные юбки, сшитые, видимо, из тюля.

«Здравствуй Феллини, — подумал я. — Федерико, ты всегда с нами!»

На втором этаже оказался большой зал с по-военному богато накрытыми столами, нас усадили за один из них. Разлили по стаканам водку, и начасту произнес короткий тост. Он повинулся перед нами за шутку (ни фига себе шутка!), продолжая оставаться веселым и бравым, а затем признался, что сегодня в части День Нептуна, что каждый год в эту ночь защитники рубежей страны вылавливают из моря русалок и приглашают на празднество. Молодым солдатам после короткого лицезрения русалочьих прелестей следующие полгода служится лучше, и в каждом дембельском альбоме будет описана подобная история.

— А русалы тоже описываются дембелями? — поинтересовался я. — Однако странные у ваших солдат интересы!



Полковник посмотрел на меня и без намека на юмор сказал:

— Мы могли бы стрелять на поражение!.. —  
И спросил: — А кто и кем описывается?

Весь офицерский состав части ржал, а потом весь стол напился до потери сознания. Заливались «Пшеничной» водкой и жадно пожирали офицерские котлеты с жареной картошкой и печеными баклажанами.

Уже к утру на том же автобусе нас развезли по адресам, и эта веселая история отложилась в моей памяти, вероятно, до конца жизни. В мой дембельский альбом.

Впрочем, я отвлекся.

Все же в тот летний отдых голый случай с пограничниками оказался не самым запоминающимся. Произошло событие куда более важное, оставившее след в самом сердце.

Шла последняя неделя нашего отдыха, и как-то перед сном я вслух отправил сообщение небесам:

— Сейчас бы какую-нибудь телочку завалить!..

— Дайте спать! — недовольно прошипел цирковой.

— Старый, ты это хочешь? — спросил однокурсник шепотом.

— Хочу, очень хочу... — вымолвил я. И заснул как младенец.

Утром, перед тем как разойтись по своим интересам, Старый вдруг пригласил меня в гостиницу «Ялта».

— Прямо внутрь? — уточнил я, удивившись.

— Да, старый. На шестнадцатый этаж.

В те далекие советские времена гостиница «Ялта» называлась еще и международной, жили в ней преимущественно иностранцы, цеховики и какие-нибудь звезды балета, имеющие валюту. В гостинице все продавалось за доллары, фунты, лиры или дойчмарки. На шестнадцатом этаже располагался валютный бар с рестораном, где, как рассказывали, лабала умопомрачительная вокально-инструментальная группа... Простых советских граждан КГБ даже близко к главному входу не пускал. Было чему удивиться.

Ровно в шесть вечера я прибыл к подступам отеля, сел на теплый камень, возле которого был уговор встретиться, и начал вертеть головой, так как не знал, с какой стороны явится Старый... Он опаздывал, а я, закрыв глаза, оборотил свое лицо к вечернему солнцу, множа веснушки на щеках и на носу.

— Привет, старый! — услышал я гайморитный голос однокурсника.

Он пришел не один, а в обнимку с молодой женщиной, совершенно белой как телом, так и короткими волосами, стриженными под каре. У нее даже брови и ресницы оказались белыми. А глаза — синими. Она была совсем некрасива, с толстыми крепкими ногами, тяжелым низом, большегрудая и невысокая ростом.

— Чувак, — обратился ко мне Старый, — это девушка Лина. — Она из Финляндии. Гид.

Финка протянула мне влажную ладошку и повторила неожиданно нежным голосом:

— Лина.

Лина с длинным «и». Лиина...

Мы пошли к гостинице и вошли прямо через главный вход. К нам тотчас подступили люди с квадратными гранитными челюстями.

— Это с мной, — успокоила охрану финка, предъявив аккредитацию. — Пошли.

Она говорила по-русски почти идеально, только чуть-чуть нараспев. Встреча с ней была первым моим знакомством с представителем западного мира, девушкой, чьим распевным голосом я заслушивался, пока мы поднимались в лифте на мистический шестнадцатый этаж.

Я был потрясен и полчаса смотрел на барные полки с невиданными бутылками с неизвестными названиями. Да и прочесть я ничего не мог, как типичный моноязычный представитель совка. Старый тем временем целовался с Линой, а в коротких промежутках мне заказывали какой-нибудь фантастический коктейль. Я тянул через трубочку красно-зеленую смесь и глазел по сторонам. Вдруг загрохотала музыка. Где-то за стеной, видимо, в ресторане, приступил к работе супервокально-инструментальный ансамбль, который аутентично

исполнил несколько вещей группы «Pink Floyd». Я тащился по полной, как будто меня в одно мгновение переместили из СССР куда-то в западное, лондонское и антисоветское... Уши радовались музыке, а кровь, разогнанная коктейлями, заставляла чувствовать быстро бьющееся сердце.

— Чем платить будешь? — поинтересовался бармен с усами на манер шведского лесоруба, свисающими ниже подбородка

И тут я неожиданно для себя заявил:

— Васиз лос!!!

— В говнос уже, придурок?! — спросил бармен.

— Холуй империалистический!

— Я тебя щас комитету сдам!

Здесь вмешалась Лина и что-то сказала мастеру алкогольных комбинаций на английском. Косящий под шведского лесоруба отвалил обслуживать пожилую пару французов.

Вскоре мы ушли из бара и поднялись еще на несколько этажей, где Лина открыла ключом дверь маленького номера, в котором стояли диван-кровать, продавленное кресло, стол с чисто русским графином, на две трети наполненным водой, стаканами Мухиной и теликом «Рубин 205» отечественного производства. Ну еще шкаф стоял. Да, и душ был.

Лина объяснила мне, что гид не слишком почетная профессия, поэтому фирма предоставила ей этот недорогой номер.

— В Финляндии я студентка, а здесь подрабатываю летом, пока сезон.

«Какая же она вся белая, — еще раз подумала я. — Даже родинок нет. Альбиноска?»

Лина достала из шкафа фугас ялтинского портвейна, Старый открыл его и разлил по граненым стаканам.

Отечественная химия смешалась с западной, мне было хорошо и даже прекрасно. Сидя в кресле, с прикрытыми глазами, я пытался о чем-то думать, но мысли разлетались в разные стороны, как искры костра — никчемные, красивые, сгорающие бесследно.

— Старый! — услышал я издалека. — Старый! — Я открыл глаза и увидел товарища. Он был совершенно голый и продолжать хлюпать греческим носом возле моего уха. — Иди, — прогнусавил.

Оказалось, что прошло прилично времени. Я огляделся и увидел на застланной простынями диван-кровати совершенно голую Лину. Девушка смотрела на меня, бесстыдно распахнув белое тело...

А чего вы от меня хотите?

Это был мой первый раз. Меня охолонуло гормонами с головы до ступней ног.

Я утопал в свежей сдобе ее грудей, широких крепких бедрах и неустанно совершал движения тазом со скоростью кролика-рекордсмена. Она трепала мои волосы и тихо приговаривала:

— Мой черный ангел!.. Ангел..

Счастье развернулось во всю Вселенную. Мне чудилось, что я парю в невесомости с женщиной, любовью всей моей жизни. И опять слышал я произнесенное на всю галактику «Мой черный ангел».

А потом Старый сдернул меня, буквально стащил за лодыжки с повлажневшего тела Лины и с упреком прокомментировал:

— Чувак, ты эгоист!..

Я потерял девственность в ситуации, что называется, а-ля труа, и мне было плевать на это с Млечного Пути. Я любил Лину, и мне было все равно, что кто-то еще любил ее вместе со мной...

Она освобождалась после двух, и мы втроем куда-нибудь шли, например взбирались на гору, где любовь начиналась или продолжалась, где она длилась. Цикады и облака были свидетелями нашего греха... А потом, обессиленные, шли в столовку, и пока мы со Старым стояли в очереди, Лина делала оригами. У нее был специальный блокнотик с разноцветными страничками, и она складывала из них всяких зверушек и птичек... А потом, после харчо и полтавских котлет, мы оказывались где-нибудь на пустынном пляже и продлевали наше тройственное счастье на мокрой гальке. Я помню на ее голом заду отметины от камней...

Мне, юному, казалось, что все прекрасное может и должно длиться вечно, но в субботу на проме-

наде возле театрального киоска нам повстречался цирковой импресарио с черным догом. Пыхнув сигаркой, оценивающе оглядев Лину, он предупредил, что сегодня наш со Старым последний день в гостинице «Звездочка». Ну и ночь, само собой...

— Симочка Изральевна ждет вас к обеду во вторник. — И пошел себе дальше, дернув за поводок дога, который с наслаждением лизал руку Старого.

Сердце пронизала боль. Рухнули города, США и Советский Союз обменялись ядерными ударами.

— Чувак, — проинформировал Старый, — циркач предупредил, что его сегодня не будет всю ночь!

— Ага... — Я все еще находился в нокдауне.

— Можем замутить отходную в номере!

— Нас же не пустят втроем.

— Мы, старый, на первом этаже живем. Ты войдешь, откроешь окно, и все.

Весь остаток дня мы готовились. Сначала закупились портвейном, сторговали на рынке помидоры с огурцами и на последние купили круг краковской колбасы. Вернулись в номер, прибрались, а потом решили, что на наших пружинных кроватях это будет ужасно, тем более что металлический скрип в ночи разбудит всю гостиницу.

— А давай-ка мы все на полу разложим? — предложил Старый.

Разложили матрасы, но какой-то не праздничный был у них вид. У циркача белье на кровати

было домашнее, цветное, в красную и синюю полоску. Такие же наволочки на подушках. А у нас все серое...

«Все равно завтра валить!» — подумали в унисон. И получалось в итоге отлично...

Мне до сих пор стыдно перед цирковым артистом, имени которого я даже не помню. К утру все его белье, измочаленное, залитое портвейном и иными жидкостями, можно было выбрасывать со спокойной совестью...

Но ночью мне казалось не важным, где и как все происходит, что хорошо, что плохо, есть война или нет. Я просто любил ее и слова эти шептал ей в самое ухо.

— Черный ангел, — повторяла она. — Черный ангел!

И вдруг, снизив темп, я тихо сказал ей:

— А там у вас, в Финляндии, если ты расскажешь, что целую неделю спала сразу с двумя парнями, одновременно — тебя не выгонят из университета?

— О, — ответила она, — ты что! Мне все будут завидовать! У меня было сразу два ангела...

Вот что называют западным менталитетом. Все хорошо, что тебе хорошо!

Она шептала Старому, что он белый ангел, ангел, ангел, а я, нагой и худой, положив ногу на ногу, вдруг почувствовал выстрел ревности... Я его проглотил, поймав пулю зубами...



Наутро мы тепло прощались. Лина даже прослезилась, мое сердце стучало, а мозг не хотел понимать, что больше в жизни я ее не увижу, что я из социалистической страны, а Лина живет при развитии капитализме, что моя первая женщина, моя первая любовь так и канет в Лету короткой человеческой жизни.

На прощание финка подарила нам по оригами: белого ангела — Старому и черного — мне...

Я не часто вспоминал ее, потому что дальше случились большие любви, дети от этих lovesей, карьера, быт — жизнь!.. Но я всегда носил подаренного мне ангела в бумажнике, под купюрами, под детскими фотографиями. Когда же я менял бумажник, то автоматически перекаладывал в новый все содержимое — и черного ангелочка, совсем потертого от времени, перемещал.

Прошло сорок лет, и, я пролетая через Хельсинки, ожидая пересадки, в одном из многочисленных фастфудных ресторанчиков вдруг увидел ее. Она совершенно не изменилась, светящаяся своей белизной — так казалось издали, хотелось, чтобы это было так. Она пила кофе и о чем-то, вероятно, думала.

Я хотел было броситься к ней, будто и не было этих сорока лет, даже вздернул плечами, но, поживший досыта, скопивший опыта, понимал, что делать этого не стоит, можно разрушить то далекое счаст-

ливое воспоминание, тот маленький бриллиантик памяти потерять, которых в сердце скопилось-то всего ничего... Да могла и не вспомнить немолодая женщина Лина юного прыщавого ангела, пережившего в грузного пожившего мужчину с абсолютно седой шевелюрой.

Она отошла в дамскую комнату, а я, выудив из монблановского портмоне истертого ангелочка, подошел к стойке кафе, где она сидела, и поставил его между чашкой с недопитым кофе и футляром для очков.

Вскоре она вернулась — и тотчас замерла, затем задрожала, увидев оригами ангела, прилетевшего из прошлого.

Она металась по залу ожидания, с распущенными белыми волосами, со слезами на глазах и неммым вопросом «Ну где же ты, где?!».

Ничего этого я уже не видел. Я шел к своему самолету и думал о сыне и дочери, представляя, как обниму их после долгой разлуки.

## ЛЕТО

Давеча вспомнилась мне картинка из детства. Так живо вспомнилась.

Мне двенадцать лет, у меня еще впалая грудь и ножки тонкие, как карандаши «Кохинор». На каникулах я счастливо живу у отца на даче, с братьями и другими многочисленными родственниками, в поселке творческих людей со странным названием «Зарплата».

Самым любимым моим занятием в отрочестве, лет с девяти до тринадцати, восхитительным времяпрепровождением была рыбалка. Я тратил на нее каждый свободный час, каждую детскую мысль ей посвящал. Ни один из братьев моих, ни Толян с восьмой дачи с двоюродным племянником любви к червякам, опарышам, зною и холодному дождю не разделяли, все предпочитали ухаживать за юным кроликом Микой, подаренным моим отцом детскому обществу поселка, и красивой рыжей девочкой Региной. Так я всегда и стоял над рекой в полном одиночестве. Рыбы в воде не было никогда, как в наполненной ванне. Мог, конечно, раз в неделю поднырнуть, подпрыгнуть, юркнуть самодельный поплавок — и сразу все затихало.

Даже к удилищу подскочить не успевал. Видать, казалось.

Чтобы не быть полностью побежденным, сложенным унылой на дары стихией, я катил к маленькому гнилому нечищеному пруду, откуда вылавливал ротанов — московских бычков. Это вам не морской одесский бычок — жирный и сочный, зажаренный с корочкой, — это было что-то среднее между головастиком лягушки и чернобыльским монстром. Зато ловились мутанты даже на пустой крючок, так что на срезанную с дерева ветку я нанизывал их штук под тридцать и с радостной физиономией победителя катил на велике восвояси...

Никто из дачников моими победами не вдохновлялся, наоборот — все морщились от запаха странной рыбы и шли заниматься своими делами. Закаленный улицей, я сам чистил свой улов, а после варил рыбный бычковый суп, который и ел в гордом одиночестве.

Общество почти всегда награждало меня презрением за невыносимый запах черного, с разводами радуги, будто из нефти, супа. Тогда отец выпроваживал меня на кухню, где я, убедившись, что никто не видит, выливал содержимое кастрюли в канализацию. Думалось, что тубзик прямого падения вонял пристойнее.

Иногда, когда ты совсем не ждешь, когда почти пал духом, твои бессмысленные и немислимые дер-

зания вознаграждаются. И один раз я все же стал звездой дня всего дачного поселка Зарплата.

Обычным утром, чуть свет, без завтрака я запрыгнул на свой велик «Украина» и понесся за семь километров к облюбованному уже пару лет назад месту на речке, но выбрал иное, зорко разглядев воткнутые в берег рогатины под удилища. Матерый рыбак был здесь, подумал я. Может, и мне повезет... Распустил леску, насадил червяка на крючок и, поплевав на наживку, забросил грузило с поплавком подальше от тяжелых зеленых водорослей, которые могли оборвать драгоценную снасть. Положил удочку на рогатину... И тут случилось нечто чудесное.

— Ой! — вскрикнул я сдавленно.

Только поплавок занял свое место, всего пару секунд торчал над водой красным пером, как его рвануло под воду, словно снасти зацепились о быстороходную подводную лодку. И тут я на чистом рефлексе подсекаю «подлодку». Ташу на себя что есть силы и испытываю самый сладкий момент своей жизни — до полового созревания, конечно. Я понимаю, что крючок нашел свою цель, и цель эта сильна, а значит, она большая.

Впервые в жизни я выудил леща граммов на восемьсот. Рыбина прыгала по берегу, сверкая на солнце серебряными боками, пока я, боясь упустить добычу, не накрыл ее своим телом. Я плакал

от счастья, руки мои, снимая с крючка великолепный трофей, дрожали. На веточку такую махину уже не подвесишь, ха-ха, а потому я снял рубаху, набросал в нее здесь же надерганной свежей травы и, поместив рыбину в зелень и плотно завязав рукава, вновь закинул снасть. Тут-то и началось. Каждый мой заброс приносил добычу. Подлещики, окуни, плотва перекочевывали из мертвой реки в мой мешок, сделанный из рубашки: наполненная, она казалась живой от бьющейся в ней рыбы. Я тащил без усталости, дергал, подсекал, но минут через пятнадцать клевать, как по приказу, перестало — как отрезало...

— Ну и хрен с ним!.. А че, хватит с меня!

Ощущал я себя царским червонцем, который как-то нашел у бабушки в комоду, осознавал себя Героем Советского Союза, хотел уже вознестись ангелом к небесам... И тут кто-то из-за деревьев, ломаясь через кусты, громовым басом завопил:

— Я ж тебя, гаденыш порву, как Тузик репку! Фу, бля, грелку!!!! Руки поотрываю! Без зубов оставляю, пада!..

Ждать обладателя громового баса, чтобы быть порванным, нерационально. Уже через мгновение я мчался на велике в поселок, улыбался открытым ртом, ловя им всяких мушек-мошек, и казалось, встречный ветер сдувает мои веснушки с лица.

Да, я стал героем поселка, так мне помнилось тогда. Медленно и гордо катился на велосипеде.

— Че, поймал чего? — интересовались из-за заборов.

— Ага, — отвечал гордо.

— Опять бычков?

— Не-а!

— А чего там у тебя?

— Лещи с подлещиками! — отвечал с деланой неохотой.

— Не зди!!! — не поверил старый горбатый сочинитель двух сюжетов в сатирический киножурнал «Фитиль».

— Бля буду!

Возле каждого двора я притормаживал и, развязывая рубашку, демонстрировал свой чудесный улов. Почти все предлагали купить у меня свежей рыбки, уж ой какой деликатес по тем временам, но я отказывал решительно всем и постепенно приближался к своему дому, чтобы войти в него Александром Македонским-Победителем.

Вот так, за мгновение, я стал добытчиком, кормильцем всей семьи, триумфатором. Братья и соседский Толик с племянником восторгались мной, а женщины провозглашали всем известное: терпенье и труд — все перетрут!

Потом появился отец, поглядел на улов и сказал:

— Славная будет уха! Сам варить буду! — добавил.

Все с нетерпением ждали обеда, не знали, чем занять себя, даже кролик Мика никого не интересовал, пока отец не крикнул, что уха моего имени готова!

И вот огромная кастрюля в середине стола обдает всех духом сваренной рыбы. У дачников булькает в желудке, пока отец разливает уху по тарелкам. С жирными кусками рыбы, с головами суп! Ох уж и наваристый...

— Осторожно, — предупреждает. — Горячая! — И вытаскивает из кармана брюк чекушку водки. — Приятного аппетита!

Ну здесь и началось. Обжигаясь, все семейство наворачивало уху, пока вдруг что-то во Вселенной не произошло. Катастрофическое. Все как по команде перестали чавкать и, вытаращив глаза, начали кашлять и отплевываться. И я с перекошенной физиономией, обхватив горло руками, вдруг понял, что в ухе — месячный запас перца для всего поселка. Отец надрывался от хохота, приговаривая: «Слабаки! Всего-то пакетик... или два», — и уплетал уху за обе щеки, складывая кости на обод тарелки. Женщины кричали на него, а он опрокинул чекушку в рот и в один глоток ее осушил... Потом два дня доедал мои трофеи с соседом дядей Левой, лысым старым алкашом, запивая мою добычу самогоном. После пели, нудно и фальшиво.

Я ненавидел отца три недели. К тому же в поселок пришли местные пацаны, предупредившие, что



сантехник Бляхин, здоровый контуженный отставник-десантник, прикармливал для себя место две недели, бухнув в реку ползарплаты. Отошел-то всего на пятнадцать минут — по-большому. Все знали об этом.

— А я не знал!

— Яйца обещал оторвать! — предупредили.

На речку этим летом я больше не ходил, опасаясь за свое мужское достоинство. Вместе с братьями и соседскими приятелями, забыв о лещах и окунях, играл во все пацанские игры. Ухаживал за рыжей Региной. Мы очень любили возиться с кроликом Микой, кормили его всякими травинками, гладили и считали членом семьи, как и спаниеля с неизысканным именем Тепа.

А где-то за неделю до конца каникул, когда брызнуло пахнущим осенью дождиком, ранним утром, за час до завтрака, отец отрубил Мике голову, освежевал и к обеду приготовил кроличье рагу с картошкой.

— Без перца! — оповестил. — Честно!

И опять он ел один, запивая нашего друга водкой...

Потом я переехал жить к бабушке, никогда крольчатину не ел, и к рыбе относился с равнодушием. Тем более к рыбалке. А через десять лет женился на рыжей девушке Регине.

## ДЯТЕЛ

Лет десять назад я с детьми поселился в своем доме за городом. Сыну было пять, дочке — три. Мы справно пережили в нем первую зиму, а ранней весной прилетел из лесу могучий красноголовый дятел. Он работал сутками, долбя старую осину — только щепка летела в разные стороны. Уже тогда я хотел его убить — было полное ощущение, что птица молотит клювом прямо в мой мозг. Я сдержался от убийства и промучился еще пару недель. И вдруг все стихло. Я поблагодарил Всевышнего за тишину и несколько дней наслаждался покоем, жмурясь от весеннего солнца. А потом начался ад. К могучему красноголовому прилетела спутница жизни: влюбленные заселились в сооруженное дупло в осине и принялись орать так, что я подумал — режут где-то поросля. Такие звуки не могут издавать самые агрессивные мартовские кошки, даже павлин так гнусно не вопит. Желание прибить уже обеих птиц было почти непреодолимо, но я держался сколько мог, пока не понял, что еще неделя — и я сойду с ума. Взяв оружие, без всяких сомнений, твердой поступью я направился к осине, из дупла которой орало краснокнижное семейство. Нацелив ружье

на дупло, я уже хотел было разнести птичий дом, почти спустил курок, как вдруг неожиданно увидел два длинных желтых клюва, торчащих из темноты. Господи, птенцы!!! У меня все тотчас перевернулось в голове, как молнией сразила мысль, что и у меня маленькие дети, и у них. Вот же как!!! Ну и ну!!! Прислонив ружье к дереву, я сел на лавку и мигом успокоился. У птиц дети — и у меня... Как же это все здорово!..

Каждую весну дятлы прилетают в мой двор, к своей осине. Я давно уже не замечаю их воплей, не раздражаюсь, глядя на два новых дупла, которые выдолблены над старым, называю их трехэтажным таунхаусом и жду появления птенцов. Часто птенцы, учась летать, падают в кусты, застревая в листве, и тогда мы с детьми помогаем им взлететь вновь. За десять лет подросли дети, я немного постарел, да и пара дятлов вопят не так истошно, как раньше. Тоже постарели...

P.S. А совсем недавно, осенью, ураганный порыв ветра свалил старую осину...

Все проходит...

## ДЕВУШКА И СТРЕКОЗА

Она была удивительно хороша. Ее мускулистое тело, перекручиваясь змеей, неумоимо извивалось вокруг шеста, вызывая похотливое восхищение пришедших на стриптиз мужчин.

Она не помнила, сколько тысяч оборотов совершила вокруг пилона, не думала о количестве «фонариков» и других фигур высшего эротического пилотажа, выставленных на показ, за три года ночной жизни. Все, и память, и времена — все смешивалось со сладковатым табачным дымом, запахом чистого порока и влажных денег.

Напряжение достигло апогея, девушка соскальзывала к полу, удерживаясь о шест только ногами. Она щелкнула застежкой украшенного розовыми перышками лифчика, ослепив безнадежно влюбленного в нее звукорежиссера прекрасной наготой. Мужчина сухо слотнул и произнес в микрофон бархатным голосом:

— Жасми-и-ин!..

Номер закончился, ей зааплодировали.

Она не рассматривала руки, тянущиеся к ее трусикам, видела лишь купюры и улыбалась куда-то внутрь себя, непонятно чему и зачем, пугаясь дрожащей душой.

А потом она увидела стрекозу. Лучи разноцветных софитов просвечивали насквозь ее тонкие крылышки. Стрекоза села на шест, слегка подрагивая слюдой, и время остановилось.

И тогда девушка перестала улыбаться, закусила пребольно губу и пошла за кулисы, держа в руке розовый лифчик словно авоську с бутылкой кефира. Проглотив капельку крови, она обернулась к шесту и громко зло сказала:

— А пошло все!.. Суки!!!

Стрекоза вспорхнула с пилона, сделала круг по заду и, нагнав стриптизершу, вернулась в ее душу.

## ВАНЕЧКА

Помню, лет десять назад я вдруг проснулся посреди ночи. Что-то заставило меня выскочить из сна с наполненной волнением грудью. Тогда мы жили в большом доме, я пристроился трудиться в мансарде, а дети радовались жизни на втором этаже. Сын и дочь, с разницей в два года... Волнение хорошим родителем трактуется тревогой о детях. Я слез с кровати и спустился на второй этаж. Проверил комнату сына — он спал глубоко, и дыхание его было ровным. Напротив — комната дочери. Как только я вошел в ее комнату, тотчас услышал жуткие хрипы. Я включил свет и увидел ее схватившейся за горло, она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Только сипы и свист из легких. Кожа вокруг шеи приобрела синюшный оттенок, и мне стало страшно — так, как никогда в жизни. Даже дуло пистолета в 90-х в моем пересохшем рту, даже близость неожиданной смерти так не напугали меня. Тогда я знал, что делать.

За несколько лет до описания этого случая я две недели как познакомился с будущей матерью своих детей. Катал ее в машине по вечернему городу, когда ей на пейджер пришло сообщение: «Приезжай в Тарусу, Ванечка умер».

— Ванечка умер, — с удивлением сказала она.

Ванечка был мальчишкой четырех лет, брат моей девушки. Мать родила его сильно за сорок, когда вышла замуж за завязавшего алкоголика, маленького русского мужичка с рыжей, веером, бородой. Как-то ночью ему явился сам Всевышний и рубанул с плеча: мол, как тебе, Василий, не стыдно, а?! Мужичок наутро даже не опохмелился, через два дня крестился в церкви неподалеку, где и познакомился с будущей супругой, вскорости родившей ему сына Ванечку. Видимо, за подвиг отказа от винопития Василию был послан Господом сынок.

Я видел Ванечку всего раз. Его белокурые волосы не стригли с рождения, они спадали до плеч непослушными локонами, а светлые глаза будто не замечали людей вокруг. Мальчишка делал что хотел, не обращая внимания на взрослых. Особенностью Ванечки было то, что он совершенно не разговаривал, только издавал звуки, когда ему было что-то нужно, показывая пальцем, и курлыкал словно голубь. Прозрачный, светлый ангелок, подумал я тогда... Он отставал от своих сверстников в развитии, наоборот: в три года научился читать — хотя как было проверить?... Когда ему на ночь читали книжку, он мог замотать головой: мол, книжка вовсе не та. Его спрашивали, почему не та, но он лишь крутил головой, наотрез отказываясь слушать. Спрашивали: ты знаешь сказку про бычка? Ванечка кивал, выпрыгивал

из постели и делал вид, что идет по доске, балансируя, будто упадет сейчас. Как и было в сказке про бычка...

И вот Ванечки не стало. Мы ехали в Тарусу ночью, а когда добрались до места, уже светало и пахло летним лесом. Мать мертвого ребенка, женщина с формами, держала безжизненное тельце на руках, глядя на нас совершенно спокойным взглядом. Рядом металась маленькая простоволосая женщина и объясняла то ли нам, то ли себе, что, мол, Ванечка ночью закашлялся, и она натерла его лавандой, отчего тот захрипел, словно умирающая лошадь, а затем минуты через три испустил дух.

Я помню до сих пор это сравнение — как умирающая лошадь.

Приехала «Скорая», ребенка осмотрели в дачном домике, уложив на стол между сушками и банками с вареньем, и врач предположил:

— Ну что, вся гортань отекла, а вы его — лавандой. Похоже на ложный круп.

Перенесли в «Скорую», обещали сказать наутро точнее. Но зачем это было нужно? Ванечка умер, и смерть его раздавила рыжебородого Василия. Напившись, он избил не пролившую ни единой слезинки жену и ушел вон, в свое последнее алкогольное пике.

Возвращался я один и размышлял, что многие смыслы отсутствуют, их просто не может быть, ангелы не умирают...



Прошло несколько лет, я обзавелся своими детьми, прежде прочитав грудку книг по их воспитанию, а потом вдруг в газете обнаружил статью на медицинскую тему: «Ложный круп». Я читал статью крайне внимательно, останавливаясь на «Помощь при отеке горла». Самое странное, что я лишь коротко вспомнил о Ванечке...

Моя дочь умирала, а ее мать от ужаса выла на всю окрестность.

— Не вопи!!! — спокойно произнес я. — «Скорую» вызывай!

Я сделал все, как было описано в той статье про ложный круп. Я был спокоен — о господи, как тяжело мне это далось! — открыл окно и, обняв дочь, сжав ее в объятиях, мягко шептал:

— Ничего, все будет хорошо. Папа с тобой...  
Давай: вдох-выдох, вдох...

Она немного успокоилась, и воздух, хоть и малыми дозами, со свистом стал поступать в ее грудку. Няня принесла снизу противоаллергический препарат и минеральную воду, как я ее попросил. В принципе, на край я даже готов был сделать дочери трахеотомию острым ножом, но, слава богу, через двадцать минут она задышала ровней и вскоре заснула.

Врач «неотложки» сказала, что я все сделал правильно:

— Наверное, вы спасли дочери жизнь...

И тут я понял, осознал спокойно, что не я во-  
все спас дочь, а ангелочек Ванечка, умерев мальчи-  
шечкой, показавший мне своими предсмертными  
страданиями, что может случиться с моей дочерью  
в далеком будущем — но не в его жизни. И подсунул  
мне медицинскую газету, пацан...

Спасибо тебе, Ванечка, оставайся ангелом моей  
дочери. Храни ее.

Идет бычок, качается...

## ДИДЛО

Три года назад ему на карточку перевели первую пенсию. Но Ефимов каждое утро садился в метро и ехал из Чертаново в центр, где на большой улице находился институт, в котором прошла вся его жизнь, от аспиранта до профессора. Просто так. По привычке. Сидел на лавочке и смотрел на входящих и выходящих субъектов своей альма-матер. Здесь под руководством знаменитого академика он защитил докторскую. Светилом не стал, так как занимался древнесаксонским языком, который был интересен только ему и еще нескольким коллегам из других стран. Вследствие непопулярности исследований даже во времена СССР зарплаты еле хватало на содержание маленькой двушки, поблекшей жены Татьяны и единственного сына Павлика. Впрочем, тогда еще были прибавки за степень и знание иностранного языка.

Весь и без того скромный доход нивелировался после развала СССР, и доктор наук Ефимов, как и половина страны, попробовал челночить, таская из Китая ширпотреб. Но после того как его на стадионе имени В.И. Ленина, самой большой толкучки современного мира, измордовал Вагит с кодлой

кавказцев, отобрав все имущество и деньги, он понял, что с торговым делом не срастается.

Перебивался Ефимов репетиторством, а потом, когда сыну Павлу пришлось выкупать место в институте, которое парень заслужил и без денег, окончив школу с золотой медалью, их двухкомнатная квартира была разменяна и превратилась в однокомнатную маломерку. Ничего, собственно, необычного. Никакие знакомства в академическом мире тогда не помогли, поезд науки мчался на коммерческих рельсах в прекрасную эпоху чужих президентов. Такие времена случились.

Наступили двухтысячные. Жизнь стала легче, он вдруг понадобился в Академии наук, где прочитал иностранным профессорам по обмену цикл лекций по теме своего древнесаксонского языка. Затем опять репетиторство, благо количество недорослей со времен СССР выросло, платили лучше, а потом добавкой пришло по имейлу письмо из Лондона, в котором сообщалось, что Королевское научное общество сочло необходимым выделить Ефимову грант на один год для написания фундаментального труда по древнесаксонскому языку. Копеечный, надо сказать, грантик в валюте, но теперь он занимался любимым делом, его еще более поблекшая жена Татьяна готовила незамысловатые обеды, а сын Павел, уже пару лет как полноценный врач, отбыл в Австралию, где созидал новую жизнь.

С женой Татьяной Ефимов познакомился на первом курсе института, куда на экскурсию привели старшеклассников, среди которых и была его будущая избранница... Они оказались близкими по духу, и через несколько лет простых отношений, он только в середине кандидатской, а она влюбленная в английскую поэзию третьекурсница, поженились. Татьяна любила Ефимова уже за одно только то, что он кропотливо исследовал предмет, до которого никому не было дела. До нее, кроме него, тоже никому дела не было. Кому нужны мертвые языки и блеклые женщины!..

Прошли десятилетия тихой размеренной жизни, если не считать развала СССР, девяностые, поехали двухтысячные все на тех же коммерческих рельсах, сын вырос, а Татьяна и Ефимов тихонько доживали свою жизнь, много читали и делились впечатлениями. Ему уже прилично за шестьдесят, ей около того. Ефимов иногда садился в метро, ехал с пересадками до «Парка культуры», выходил, прогуливаясь, а после мог часами сидеть напротив своего вуза.

Здесь, сидя на непрокрашенной лавочке, подложив под себя газету, он и влюбился. Она шла мимо, всего на шаг отдаляясь от него, а он уже был поражен в мозг, сердце и душу. Все существо затрепетало, ноздри ощутили запах обновления, а глаза разглядели светлую прядку волос, выбив-

шуюся из-под шапочки с мишками. Все за одно лишь мгновение случилось. Любовь накрыла Ефимова не по-детски, а со всей неосознанностью трагедии, которая вот сейчас с ним случается, в реальном времени.

Он пошел за ней, словно одурманенный, опоненный приворотным зельем...

На вид ей было не больше семнадцати, у него в голове вспыхнуло зачем-то: «Гёте и Ульрика... Я же не германист...» Сердце билось, будто вело его к скорой смерти. Он глядел на ее короткую, до талии, курточку, на обтянутые джинсами бедра, а сам норовил ускорить шаг, чтобы поравняться и украсть ее прозрачный, чистый, словно детский взгляд — такими глазами на Мазепу смотрела шестнадцатилетняя Мотре.

Он спешил за ней, перебирал ногами, не чувствуя одышки, и все тянулся носом к волшебному следу, оставленному молодым телом, как старый пес, ковыляющий за сукой, решивший испытать последнюю в жизни радость.

Она вошла в автобус, он вслед за ней, по-молодецки запрыгнув на подножку. Сильно ударился костяшкой лодыжки, впрочем, боли не почувствовал, и подглядывал за девушкой из-за высокой прически какой-то грузной тетки.

Свои ощущения Ефимов в слова не переводил, но сходились они к тому, что лицезреет он ангела,

чистейшее существо пронзительной красоты, невинное и добродетельное.

Она жила в противоположной стороне от Чертаново, в Отрадном, в новом доме. Так и не заметив Ефимова, она вошла в подъезд и исчезла. Он стоял возле панельной девятиэтажки будто перед храмом Господа. На глаза наворачивались слезы, в природе вечерело, холодало, а потом вспыхнуло окно на третьем этаже, явив ему ее безупречный классический силуэт, и он отнесся к этой музейной картине как к чуду благоговеющей к нему природы.

Ефимов не спрашивал себя, зачем он стоит под окнами девочки, в которую нечаянно влюбился, чего выжидает и на что надеется. Он просто стоял, переполненный чувством, и глядел, как она теперь сидит на подоконнике с плюшевым мишкой в руках.

Домой языковед вернулся под утро и, дрожа всем телом, рассказывал жене Татьяне о чуде, случившемся в осень его жизни. Татьяна плакала, счастливая за него, понимающая, что Ефимов не видит в своей Ульрике ничего, кроме чистоты, он лишь обожествляет юную девочку, возводя ее на пьедестал своей последней музыки. Но это не могло быть правдой, потому что во всяком девичьем теле до срока скрывается женщина. Может быть, сейчас ее не разглядеть, но время всегда распускает бутоны в цветок... Просто Ефимов предпочел не анализи-

ровать происходящее с ним, лишь удивлялся себе с дурацкой улыбкой, чувствуя, что в нем забродили весенние соки — иногда и умирающее вино бродит, — о которых он позабыл десятилетия назад. Дрогнуло и то, что было давно утилитарным.

Он ездил в Отрадное каждый вечер, чтобы дожидаться ее, выходящую из автобуса, а затем часами караулить ее появления в окне... Однажды он увидел, как она села на подоконник в шортиках и топе, и чуть было не лишился сознания... После с ним случилась горячка, и Татьяна прикладывала к его лбу мокрую тряпочку. Во сне Ефимов вдруг стал бредить на древнесаксонском, иногда проговаривая целые части рыцарских баллад...

Каждый вечер, в шесть часов, Ефимов занимал свое место под окнами девочки, уже зная ее имя от подруги, с которой они иногда пересекались возле дома. Кристина, а счастье его сердца звали именно так, училась в педагогическом техникуме, эту информацию он услышал от ее отца, когда тот с дочерью возвращался из продуктового магазина.

— Как дела в техникуме? — спросил крепкого телосложения мужчина с приятным лицом и открытым миру взглядом.

— Ничего, — ответила девочка. — Все хорошо...

...Наступило лето, холодное и дождливое, Ефимов часто простужался, впрочем, поста часового любви не оставлял и кашлял потихоньку в кулак.



А на День защиты детей он встретился с ней глазами. Она долго и внимательно смотрела на него, а душа Ефимова, казалось, была готова сорваться, как птица с ветки, и унести в просторы мироздания. Но, видимо, крепкими были еще корешки сакрального, и он ответил на ее взгляд своим таким же затяжным, почти признательным. А потом девочка исчезла в темноте своего окна.

Следующим вечером, тоненькая, с лебединой шеей и забранными в узел волосами, она вновь явила себя миру и опять смотрела Ефимову, казалось, прямо в нутро. Он был болен и почти немощен, но могучее чувство как универсальное лекарство заставляло его жить и гореть доменной печью.

Она помахала ему.

Он помахал в ответ.

А еще через некоторое время из подъезда вышел отец Кристины и направился к Ефимову.

Крепкий телом и открытый лицом, он остановился в метре от Ефимова и спросил:

— Мужик, тебе чего?

— Ничего, — ответил Ефимов.

— А чего здесь под окнами ошиваешься?

— Я дочь вашу люблю...

Мужчина опешил:

— Ты чего дед, с дуба рухнул?!

— Мне ничего не надо, — принялся объяснять Ефимов. — Я не педофил, я просто увидел вашу дочь...

Он тараторил, рассказывая, что доктор наук, что уже на пенсии, что так уж получилось, что Кристина проходила невдалеке от лавочки, на которой он сидел. Он уверял, что ничего, помимо созерцания, ему не нужно, что он любит свою жену Татьяну, которая в курсе происходящего, что он скоро возьмется за перевод древнейшего манускрипта... И Кристину любит, но совершенно в ином смысле...

Мужчина ударил Ефимова, впрочем так — только ткнул легонько в лицо, но языковеду этого было достаточно. Истощенный многомесячным стоянием на посту, вечно простуженный, он упал в траву и захлопал глазами, как ребенок, которого вроде и есть за что наказывать, а вроде и не за что. Из носа потекла струйка крови. Только разбитых интеллигентских очков не хватало...

Сам мужчина тотчас пожалел о содеянном. В сердце кольнуло. Он еще никогда не бил стариков. И не собирался. Господи, как же это вышло-то!..

— Дочь говорит, что вы уже много месяцев ее преследуете, — растерянно развел он руками.

Ефимов приподнялся на колени, а потом с помощью протянутой руки отца девочки встал и, хлопав по карманам, отыскал носовой платок.

— Так никакого злого умысла...

Что-то мужчину мучило в сложившейся ситуации. Ему даже показалось, что он сделал сейчас что-

то гадкое. Что он не расслышал в пожилом человеке искренности, поступил как все и унизил его.

— Простите...

— За что же? — спросил, хлюпая носом, Ефимов, задрав голову и промакивая кровь найденным платком.

— Пойдемте к нам. Жена поможет привести вашу одежду в порядок.

Ефимов всплеснул руками, отнекиваясь: мол, и так причинил столько волнений, что домой доберется и там уже жена приведет его в чувство... Он коротко глянул на окно, в которое за ситуацией внимательно наблюдала девочка. Ему казалось, что лицо ее покраснелось, что она плакала.

— Поеду... Поеду восвоюси...

— Только не возвращайтесь больше! — попросил отец Кристины. — Сами понимаете... Как-то все странно это... И извините еще раз...

— Все нормально, кровь уже не идет...

До полуночи Татьяна врачевала ефимовские раны, полученные на поле боя любви, а потом читала мужу вслух набоковскую «Лолиту», а он фыркал, местами искренне, приговаривая: «Фу, как неприлично»...

Всю последующую неделю Ефимов ездил в Отрадное, только место наблюдения сменил. Смотрел на девочку из-за деревьев, улыбался, глядя, как залитая солнцем Галатея выходит из автобуса, и провожал ее восторженными глазами.

В понедельник его пост обнаружила подружка Кристины, попросила не волноваться и протянула Ефимову сложенный вдвое лист бумаги.

— Все будет хорошо! Это от нее, — ободрила девушка и исчезла за кустами увядающей сирени.

В метро он развернул бумажку и увидел сноску для Интернета — и больше ничего.

Подумал, что это адрес ее образа, страничка с иконой искренности и подарок ему за все мучения. За все воздается!

— Спасибо! — прошептал языковед под свод станции «Чертановская». — Спасибо.

Он несся к дому, словно молодой, будто ему даровали немного юности, и, ворвавшись в квартиру, отстранив жену — подожди, Танечка!.. Я сейчас... — влетел в кабинет и, дыша тяжело, как лошадь после забега, включил старенький пентиум. Ефимов с трудом дождался, пока тот загрузится, мигнув всеми пикселями, и сноровисто вбил ссылку в поисковую строку.

Почти тотчас он увидел картинку онлайн с заголовком «Ранетки.ру», в которой жила его Ульрика, Галатея, Мотре. Кристина сидела на плюшевой подушечке в своей девичьей комнатке, совершенно голая и с искусственным фаллосом в нежных руках.

— А, это ты! — узнала Ефимова девушка. — Так же лучше, чем в окно пялиться? У тебя кредитка есть?

— У жены, — машинально ответил он.

— Ладно, тогда первый раз бесплатно...

Кристина изогнулась, выпятив грудь в самую камеру...

Ефимов съехал с кресла и потерял сознание. С ним случился обширный инфаркт, и полгода он провел в больнице. Его выходила жена Татьяна, пусть немолодая, но его Ульрике, его судьба, подходящая к неизбежному концу.

...Прежде чем скончаться в отведенный ему час, Ефимов успел закончить фундаментальную работу над «Поэтикой древнесаксонского языка», а награду от Королевского общества в десять тысяч фунтов уже получала вдова лауреата Татьяна Ефимова. В честь такого события из далекой Австралии в Кембридж приехал и Павел Ефимов, сын лауреата. Он торжественно пообещал переименовать своего второго сына именем отца. Видимо, в Австралии так можно...

## МАЛЬЧИК И РАВВИН

Последние три дня мальчишка крутился на тротуаре возле салона красоты, в котором работала его мать. Пяти лет от роду, он не знал в своей жизни никого, кроме мамы, папы, добрых дедушек и бабушек. Ни одной печалинки не вошло в его крохотное сердце. Его никогда не обижали, а если родители наказывали за проказы, то он даже не понимал, что это в наказание — «не буду тебе сегодня читать». И хорошо, радовался он, любящий засыпать под свои фантазии, в которых не было ничего осознанного — только одни запахи и очень цветные картинки.

Няня мальчика уже четыре дня как болела, и мать брала сына с собой в салон красоты. Она служила элитным косметологом и велела сыну не мешать ей, ни в какие двери не входить, а играть в комнате для детей, где за ними присматривала специальная тетенька, полная и незамужняя.

Мальчику были не интересны кубики, конструкторы и всякая другая всячина, которой было предостаточно и в его комнате дома. Ему хотелось вырваться в летний день, и он ныл матери в приоткрытую дверь, что тут скучно, пахнет как дома в ванной, а в буфете только черный кофе, который он не пьет, потому что маленький.

— Не хочу здесь!

Он мешал ей работать, и она велела охраннику вывести сына на улицу и следить за ним в оба глаза.

И вот он, в аккуратных шортиках, белой маечке и сандаликах на босу ногу, уже жмурится от летнего солнца, рассматривая спешащих куда-то прохожих... Но и это занятие вскоре наскучило, он немножко млеет от жары и, сидя на крыльце салона, почти заснул. Он что-то услышал от охранника, что-то вроде, мол, не уходи никуда, я сейчас... Вдруг он понял, что остался один. Вскочил, попрыгал мячиком от вернувшейся энергии и шмыгнул в подворотню исследовать изнанку улицы.

В проходных дворах было куда прохладнее, задирая голову к небу, он видел верхние этажи домов и впервые в жизни услышал свои шаги. Он ухнул, как сова из мультика, и колодец проходного двора трижды ухнул в ответ. Мальчик был смелым, а потому запрыгал в сторону старика в странных одеждах. Старик был похож на летнего Деда Мороза или волшебника: в странной черной шляпе, черном костюме, белой рубашке, застегнутой под горло, и с длинной седой бородой. Согбенный долгой жизнью, он шел, не глядя по сторонам, казалось, что спешил.

Мальчик подбежал и стал рассматривать его беззастенчиво, как это делают маленькие дети, а затем, схватив старика за руку, спросил:

— Ты кто?

— Иди, мальчик, иди! — высвободил руку прохожий. У него был артрит, и он ненавидел, когда к его рукам прикасались.

— Ты странно как-то одет!..

— Ты тоже.

— Но у меня нет юбки!

— Это не юбка...

— А что?

— Тебя будет искать мама.

— А чего у тебя такая странная одежда? Сейчас лето. Ты нищий?

— Я так специально одет, — злился старик, опаздывающий в синагогу на Бронной. Он должен был сегодня встречаться с раввином из Литвы, старым товарищем, приехавшим в Москву на пару дней повидаться и отпраздновать Шабат.

— А зачем ты так специально одет? — не отставал мальчик.

— Чтобы отпугивать таких, как ты!

— А мне не страшно! Мне не страшно! Ты кто? Ты кто?

Старик был совсем не мягкого нрава. За жизнь он обучил разным важным вещам сотни детей и немало взрослых. Он умел нагнать страха на любого мальчишку.

— А я вот сейчас за уши тебя!

— За уши? — удивился мальчик.

Старик ловко ухватил его за ухо и потянул за него артритными пальцами.



— Ой! — вскрикнул ребенок. Его еще никто не таскал за ухо, никогда не причинял боль, а потому он рассердился, хоть и стоял на носочках сандалий, чтобы уменьшить натяжение:

— Ты злой старикашка! Моя мама работает в салоне красоты, она сбреет тебе бороду, и ты не сможешь колдовать!

— Я не Хоттабыч!

— А кто?

— Я раввин! — ответил старик и отпустил красное пылающее ухо мальчишки.

— Здо-орово! — протянул тот, впервые услышав это слово, отдающее чем-то сказочно-непознанным. — Покажешь фокус?

— Я Олег Попов?

— Не знаю. А это кто?

Старик промямлил, что все нынче недоросли — и малые, и великовозрастные.

— Я не фокусник!

— Так кто ты? — нетерпеливо и требовательно настаивал мальчик. Одновременно он попытался схватить старика за торчащий из-под пиджака кусок юбки с кистями. За это вконец рассердившийся раввин отвесил ему пенделя.

— Ты меня бьешь! — отскочил неугомонный мальчик. — Опять!

— Как ты это понял? — поинтересовался старик, у которого заныла подагрическая костяшка на правой ноге.

— Мне больно!

— Я рад!

— Ты злой!

— Нет воспитания без ремня! — проворчал раввин и шагнул в темную подворотню. — А сейчас я тебя съем! — провыл он к каменным сводам — и сам обалдел от своего могущества. Этой фразы всегда боялись его внуки и правнуки.

— Ты хоть и старый дедушка, но глупый. — Мальчик бесстрашно шагнул за раввином. — Люди людей не едят.

— Чего ты увязался за мной?! Мать твоя, поди, с ума сходит!

— Не, у нее времени нет. Она теткам волосы из ног выдергивает!

— Что?! — опешил старик и на секунду остановился.

— А у дядь — с груди и спины. Пришел волосатый, а ушел без волос. Ты волосатый?

— Твоя мать работает в салоне красоты? — вспомнил старик и представил, как это — драть волосы с груди. Раввин был очень волосат. Воображенная картинка не понравилась, и он поморщился.

— Я говорил, — обрадовался мальчик и завертелся юлой от переизбытка энергии. — Я говорил, что ты фокусник!

— Ты раскусил меня. А теперь иди обратно!

— А я, как обратно, не помню!

— А название салона красоты?

— И это не помню. Что-то про крокодила или бегемота... Или это из книжки?..

— Вот еще напасть на мою голову!

Старик схватил мальчишку за руку и поволок за собой.

— Эй! Куда ты меня тащишь?! Только не говори, что на кудыкину гору! Мне мама всегда так говорит!

— Ну не на Синайскую уж точно! — И дернул мальчишку за руку. — Давай быстрее!

— Я могу бежать! А ты можешь?

Старик бежал только в молодости — от ребе Ицака к себе домой, чтобы скорее добраться до Торы... Мальчишка что-то трещал без умолку, а раввин думал, что с ним делать. Надо бы, конечно, в милицию отвести, но сколько времени пропадет. Он не успеет зажечь свечи, что почти равноценно потери места в раю, и поболтать с литовским коллегой — просто для душевной радости двух старых единомышленников. Приведу его в синагогу и там отдам службе безопасности, решил раввин и попытался ускорить шаг. По-прежнему болела костяшка на ноге.

— Мясо есть сегодня не буду! — проговорил он вслух. — Ох, как подагра его не любит!

— А я буду! — заявил приبلудный ребенок. — И мясо, и рыбу!

— Ты пойдешь сейчас в тюрьму! — ответил раввин и сам пожалел, что так сказал. Неожиданно мальчишка приуныл и уже покорно следовал за

стариком. Он устал и больше не дергался, пытаюсь высвободить руку из старческой клешни. А у раввина кольнуло в сердце. То ад на секунду показался душе. — Не бойся, — попытался он приободрить мальчишку. — Я пошутил. Еще две минуты — и мы на месте. Тебя как зовут?

— Матвей.

— Хорошее еврейское имя! — улыбнулся старик. Они уже подошли к синагоге, и раввин прокомментировал: — А меня — рав Авдей. — Поднялись по ступеням, минуя автоматчиков. — А это синагога.

— Гога Магога! — машинально произнес в рифму Матвей.

— Откуда знаешь? — удивился рав Авдей.

— В церкви слышал... — Здесь мальчик обнаружил много мужчин в панамках и в таких же, как у старика, шляпах. Затем возле металлоискателя увидел корзину с одинаковыми шапочками. — Хочу!

— Тебе не надо!

— Тебе, значит, надо, а мне нет? — обиделся Матвей. Он еще никогда в жизни не находился так долго с незнакомыми людьми. И вокруг столько дядь в юбках поверх штанов. Он должен был заплакать — и заплакал... Если бы зарыдал еврейский ребенок, то рав Авдей и глазом бы не моргнул, но сейчас он перестал чувствовать себя наставником многих поколений и прижал мальчика к ногам.

— Скоро найдем твою маму! — Он надел на голову мальчику кипу и, что-то коротко сказав одному из охранников, улыбнулся и спросил: — Таки мясо и рыбу?

— Ага, — кивнул Матвей.

Старик провел мальчика вдоль молитвенного зала, где тот остановился и, поглядев на кланяющихся людей, стал тоже кланяться. И опять раввин сказал, что ему этого делать не надо.

— Чего не надо?

— Они молятся.

— И я молюсь! Господи, помиилууй! — пропел и перекрестился. — Мы всегда по воскресеньям ходим в церковь!

— Сегодня пятница!

Они вошли в ресторан, где молодые люди подготавливали столы к ужину. С кухни выглянул шеф-повар грузин Дато и поприветствовал рава Авдея.

— Ара, там что-то осталось еще с буфета? — спросил старик.

— Много чего, батоне!

— Неси мясо и рыбу сюда!

Через несколько минут проголодавшийся мальчик уплетал фаршированного карпа вприкуску с куриной ножкой.

— Не обманул! — икнул Матвей.

Раввин сидел напротив и улыбался. Ему казалось, что сегодня он сделал что-то значащее в жизни, хотя не понимал что.

Потом Матвея накормили сладостями и сводили в туалет. Мальчик попытался заплакать еще раз, но увидел маму. Ее лицо было опрокинутым, бледным и несчастным.

— Мама! — крикнул Матвей.

Она рванулась к сыну, подбежала и, обнимая, долго целовала его:

— У тебя все хорошо?.. Мама дома тебя накормит. Не пугай меня больше так!

Старик смотрел на мать и сына: можно было умилиться картинке воссоединения матери и дитяти, но он вдруг представил, как грудь его заливают горячим воском, а потом выдирают волосы.

— Это Авдей! — дернул мальчик старика за обшлаг сюртука. — Он дал мне рыбы и мяса. И нашел тебя.

— Спасибо вам! — улыбнулась мать. Но она была не здесь, а в сыне, которого взяла на руки и понесла прочь. Из-за ее плеча мальчик смотрел в глазаравнину, пока не закрылась дверь.

Когда Матвею исполнилось пятнадцать лет, на школьной перемене он разбил нос десятикласснику, который назвал его товарища Мотю Шлейфмана жидом.

## НЕГР АЛЕША

Когда ему исполнилось девять лет, бабушка с дедушкой решили взять внука к себе на воспитание и вообще в человеческую жизнь. До этого исторического решения мальчик проживал до конца второго класса в интернате на Лосином острове и находился под призором не очень чистоплотных совестью учителей и другого персонала. Столько лет минуло с того времени, а он до сих пор не мог есть свекольники и морковные котлеты, сменяющие друг друга на обедах в интернате. И только у бабушки с дедушкой внук понял, что такое настоящие котлеты — из мяса, провернутого через мясорубку, с лучком, размоченным в молоке хлебushком, скворчащие на сковородке и плюющие раскаленным подсолнечным маслом в физиономию, если нетерпеливый ребенок склонялся над плитой понюхать их.

Привычный к поднадзорной жизни, зэк без приговора, он легко адаптировался к воле. Все вокруг казалось ему прекрасным и волшебным. Даже путь в школу без сопровождения делал мальчика более счастливым.

В первый день учебы он подружился с одноклассником, мальчиком шоколадного цвета, с пру-

жинками волос на круглой голове, упитанным телом и недобрый взглядом маленьких черных глаз. Даже белки были похожи на небо в ненастье. Его звали Алеша. Алеша Прокопов.

До сей поры интернатский никогда не встречал негров, только на картинках в учебнике, в котором говорилось, что негры живут только в Африке... Врали, понял он.

— Дима, — назвался.

Негр Алеша с первого дня учебы держал контроль над классом. Мальчишки были сильно мельче в сравнении с африканцем, а потому беспрекословно подчинялись первобытной силе. На переменах, особенно на больших, Алеша устраивал на черной лестнице тайные игры в трясулку и обстенок. А у новенького в кармане звенели две пятнадцатикопеечные монеты на школьный обед, которые было предложено пустить в оборот и сыграть на них в трясулку. Самым сноровистым из игроков оказался мальчик по прозвищу Лёлек. Тогда была популярна серия польских мультфильмов под названием «Приключения Болека и Лёлека». Так вот этот Лёлек, худющий и самый мелкий, как первоклашка, каким-то непостижимым образом проиграл ему тридцать копеек чистяком. Далее новичок Дима играть отказался, решив сохранить нажитое, его жали на «слабо», но в обычной школе «слабо» — это им не интернатское «слабо»... За всю



жизнь у него имелось лишь три монеты: копеечка медная, десять копеек — дистунчик, как называли монету при игре, и какая-то иностранная, с дыркой посередине. Сейчас у него скопилось шестьдесят копеек, и он в принципе не понимал, что делать с таким богатством, даже возвращаться домой было страшно.

— Я тебя провожу, — предложил черный мальчик.

По пути он рассказал, что живет за МАДИ, в огромном доме буквой «П», в народе «Пэшка», с матерью, что у него уже растут на лобке волосы и что скоро день рождения. Через четыре месяца.

— Ты, Димастый, приходи!

— Ага, — согласился он с охотой.

— Лёлек еще будет... И зови меня Шерханом.

— А я тогда Маугли.

— Нет, — отрезал провожатый. — Ты Димастый!

Конечно, избыток денег он вскоре проиграл, все тому же Лёлеку. Обеденные — они были не столь ценны, так как к недоеданию Димастый привык в интернате, а чувство азарта росло с каждым днем. Он быстро уразумел все хитрости трясушки, после «стоп» просил растереть, чтобы трясуший не поставил монеты на ребра... У него неплохо получалось в обстенок, пальцы рук были длинными, и Димастый частенько за счет них выигрывал, дотягива-

ясь до самых далеких монеток. А в трясучку в конце оказывалось, что он почти всегда проигрывал Лёлеку и негру Алеше...

Прошло четыре месяца, и наступил день рождения друга.

Он пришел на праздник, как учил дед, с цветами для матери и от себя с пластинкой с Африком Симоном — страшная редкость по тем временам. Но у африканского именинника проигрывателя не имелось, Африка Симона оставили на светлое будущее и включили черно-белый телик, по которому показывали документальный фильм про советскую молодежь.

Матерью виновника торжества оказалась немолодая женщина, совсем простая, ростом маленькая и с сильно заметной хромотой. Она суетилась по крохотной комнатке, поправляя то скатерть на столе, то занавески на окне.

На праздник помимо Димастого были приглашены Лёлек и Кирдяпкина, девчонка-оторва из параллельного, которую они в будущем беспощадно лапали класса с пятого, а она только смеялась в ответ.

Бабушка говорила, что такой фамилии в принципе не может быть:

— Кирдяпкина... Нонсенс!

Пригласили за небогатый стол: с колбасой «Любительской», шпротами в банке, винегретом с се-

ледкой, сардельками на горячее и лимонадом «Буратино» на запив. В центре, не вынутый из коробки, но уже открытый, соблазнял своим шоколадным цветом торт «Прага» и удивляла открытая бутылка красного вина.

Хромая женщина, потрепав сына по голове, предложила разливать вино по бокалам, и уже после первого тоста «С днем рождения!», минуты через три, в свои девять лет Димастый оказался пьяным в стельку и его уложили на диван отдыхать.

Все дальнейшее веселье он пропустил, помнил лишь, что Алеша тащил его на себе через строительную площадку домой, где и сгрузил возле родной двери.

Его никто не ругал. Дедушка только заметил, что в девять лет начинать рановато. И засмеялся, а потом закашлялся. Мальчику нравилось, как дед смеется и как кашляет, нравилось.

За Димастым, как и в интернате, никто не следил, уроков не проверял, его просто кормили и обожали. Дедушка каждое воскресенье выдавал ему рубль на пополнение коллекции марок, который он проигрывал во что придется.

В пятом классе друзья вовсю бились в буру, или секу, три листа, используя чердаки разных домов. В те годы никто их не закрывал.

Вследствие разнузданной жизни без присмотра Димастый к пятому классу вышел в чистые дво-

ечники с репутацией хулигана. Теми же самыми результатами могла похвастаться вся их гоп-компания, вместе с Кирдяпкиной, чьи сиськи росли с непостижимой скоростью.

Тогда выгнать из советской школы было почти невозможно, а потому они вели себя, как им заблагорассудится. Вытрясали из малышей мелочь, дрались с параллельными классами, празднично шатались по Москве, готовясь либо к ПТУ, либо к колонии для несовершеннолетних.

Они почти все время проводили вместе, начали курить в двенадцать, лишь алкоголь как-то не укоренился в их привычках, ходили рубиться со взрослыми пацанами двор на двор, играли летом в футбол, а зимой — в хоккей.

Но все эти годы вольной жизни Димастый до окончания восьмого класса не мог расстаться с неким чувством дискомфорта, не поддающимся анализу, но которое по мере взросления все нарастало. Ему было ужасно обидно, когда негр разбил ему нос за обвинение в шулерстве мелкого Лёлека и самого Шерхана: мол, типа, гады, играете на одну руку. Ему было неприятно, что он испугался дать сдачи, и наворачивались слезы обиды. Негр смотрел на Димастого маленькими глазками, разглядывая и исследуя его трусость... А кто любит чувствовать себя трусом?

— Ничего, — успокаивал на раздаче карт африканец. — У деда твоего много денег...

Позже, к классу восьмому, Димастый вдруг понял, что то, что казалось ему дискомфортом, на самом деле — классовая несовместимость, сейчас бы сказали — гены разной породы. Он видел в глазах Алеши некую ограниченность, почти доисторическую враждебность хищного животного. Учителя часто шептались про него в школе, что нагуляла хромая уборщица сынка в МАДИ от ангольского студента-солдата-революционера, расстрелявшего десятки мирных соотечественников.

Димастый неожиданно стал много читать и многим интересоваться. Лёлек по-прежнему оставался Лёлеком, жуликоватым подростком, почти самым мелким в школе, а Кирдяпкина еще в конце седьмого класса зачем-то полезла на строительный кран покрасоваться новыми трусами в горошек, а тот оказался под напряжением, девочка в мгновение сторела, и ее похоронили в закрытом гробу, накрытом почему-то советским флагом.

Его друзья после восьмого класса решили идти в ПТУ на слесарей, а бабушка настояла на девятом, в который Димастый пошел с неохотой: думал поступать в цирковое, но дедушка, Царствие ему небесное, говорил, что без высшего образования никуда, а в цирковом лишь среднее.

— И вдруг из тебя не выйдет клоуна?

Он так и остался доучиваться в школе. Встречи с Лёлеком и Алешей становились все реже и реже,

отчего Димастый чувствовал себя легким воздушным шариком, как будто с его сердца сняли бетонную плиту. Так он расстался с детством.

Иногда негр Алеша звонил, предлагая перекинуться в карты или где пошляться, но Димастый старательно отмазывался от встреч, и вскоре звонки прекратились.

Жизнь Димастого покатила своим чередом. Он окончил школу, потом творческий вуз, рано женился, развелся...

Он редко вспоминал свои школьные годы, как и большинство людей на свете. Но если и вспоминал, то лишь негра Алешу. Вот из институтской жизни ему часто снились цветные сны, отчего он просыпался наутро счастливым... Однажды, встретившись на семинаре с молодыми поэтами из Анголы, он вдруг вновь вспомнил детского друга, Шерхана, царя джунглей, ему даже захотелось навеститься к нему: мол, глянь, каков я, а ты меня в нос... Но завертелся, закрутился в очередных проектах и новой любви.

Димастому удалось прожить достойную жизнь. Он ни разу не сходил в школу на встречу выпускников и двадцать пять лет не вспоминал ее вовсе. У него выросли красивые и толковые дети, его ум уважали друзья, а посты в социальных сетях набирали тысячи лайков.

На один из его пассажей о бренности бытия, о том, что никто не знает, близок ли, далек ли его конец, он получил комментарий от представив-

шейся одноклассницей женщины средних лет, которую совершенно не помнил.

— А помните ли вы Лешу Прокопова? — спросила одноклассница.

И вдруг перед его глазами в одно мгновение пронеслось школьное детство с жуликом Лёлеком и сгоревшей вместе с сиськами на подъемном крае Кирдяпкиной. Карты, сигареты и драки, родителей на педсовет, угрозы отправить в лесную школу... И конечно он, русский негр Алеша, с маленькими недобрыми глазами, тащивший его на закорках пьяненького к еще живым дедушке и бабушке, теперь казался ему родным, чуть ли не основной вехой его детской жизни. Как же все это было давно и недавно!

— Конечно помню! — ответил он просветленный. — Шерхан!

— Вы верно сказали, что никто про свой конец не ведает. И конечно, вы знаете, что Леша Прокопов умер?

— Нет... Когда же?

— Еще в армии, — ответила женщина. — Его убили, после долгих издевательств. Ведь в нашей школе он не чувствовал себя негром, а потому не был готов к ненависти... Да, после похорон его мать исчезла. И никто ее не искал...

Он сидел над клавиатурой, и ему было очень грустно. Он сам точно не понимал отчего. То ли русского негра Алешу было жаль, то ли себя.

## ТАКСИ

Как-то так получилось, что я на время остался без машины. Старую удачно продал, а новая, элитная, под заказ, еще не пришла.

«Не страшно, — подумал я. Поезжу на такси — чай, не барин».

В те времена у меня было столько дел, что я уходил из дому в восемь, а возвращался около полуночи. Десятки переездов в разные офисы — от одних партнеров к другим, по бытовым делам, семейным — измучили меня за первую неделю совершенно. Но делать было нечего, нужно было терпеливо ждать прихода иномарки.

В нулевые, если кто помнит, такси по большей части были частными, вне закона, но других почти не имелось, поэтому не то что заказать такси — даже голосовать на обочине было непросто.

За рулем частных такси, автомобилей — ровесников начала эпохи, стоимостью не более трехсот долларов — почти всегда сидели гости нашей столицы, бывшие соотечественники кавказской или закавказской внешности, языка русского не знающие. Чаще всего транспорт оказывался в аварий-



ном состоянии, а бомбилы, останавливающиеся на твой призыв, спрашивали:

— Тэбэ куда?

— На Маяковку.

— Дорога покажишь?

Ты обещаешь и дорогу показать, и помочь в управлении транспортом, и выдать за пастуха замуж дочь, которая еще не родилась.

В нелегальных такси обычно воняло, как в курилке какого-нибудь НИИ, только за рулем был не ученый, а еще вчера пасший овец житель гор. Соответственно, к запаху табака примешивался аромат бараньей шкуры, которую теплолюбивые леваки клали себе под задницу.

Зачем забираться на гору, если потом спускаешься?

В конце одной из трудовых недель, в пятницу, я голосовал, чтобы помчаться на какой-то полусветский прием, но даже джигиты-ваххабиты не обращали внимания на мою длинную машущую руку с зажатой в пальцах двадцаткой долларов. Вся Москва разъезжалась по тусовкам в ночные клубы, рестораны и т.д. И у всех были двадцатки.

Теряя терпение, уже сильно опаздывая, к тому же той весной было прохладно, за полчаса попыток отловить машину я прилично замерз. В поисках выхода из ситуации, обмозговывая, то ли поехать на метро, до которого надо бежать минут пятнадцать,

то ли плюнуть на тусовку и вернуться домой, хотя на чем я вернусь, я продолжал тянуть руку к небу — и вдруг рядом со мной остановилось настоящее такси, желтое, с шашечками на дверях. Я умоляюще назвал адрес, мне из салона ответили: «Садитесь», и я, не веря своему счастью, плюхнулся на переднее сиденье вполне себе приличной машины: чистенькой и главное — едущей к моей цели. Еще меня поразило, что таксист, определенно титульной нации, включил счетчик, который тогда казался анахронизмом: платили по уговору.

В общем, до желанного адреса я добрался, хотел уже выпрыгнуть из такси, но задержался и спросил напоследок:

— У вас время есть?

— Есть.

— Пять долларов в час вас устроит?

— Да, — кивнул водитель, и я, дав ему приличный аванс, отправился прожигать жизнь, довольный, что подо мной тачка, что я в сохранности доберусь ночью до дома. Так и оказалось. Таксист верно дожидался пассажира и довез меня до дома быстро и аккуратно.

— Сколько вы зарабатываете?

Он ответил, и я предложил ему поработать только со мной — за тройную цену против его дохода.

— Согласен.

— Тогда завтра в девять утра.

И мы стали с ним ездить.

Его звали Сергей Михайлович. Чуть за сорок, русский, с веснушками на рабочих руках, очень пунктуальный и что самое главное — молчаливый. Управляя автомобилем, он как бы не присутствовал в нем, будто только физическое тело в салоне оставалась, тогда как душа в это время вылетала куда-то по своей надобности, оставляя на губах легкую улыбку.

Мы редко разговаривали. Но как-то он посреди поездки поблагодарил меня.

— За что?

— Теперь моя Настя может оставить только одну работу.

— А сейчас она на скольких?

— На трех... — В его глазах было столько любви, что я невольно представил себе милую женщину лет тридцати, в сарафане в пол, с русой косой до пояса, стеснительную и покорную...

— Не за что, — ответил я.

Мой новый водитель называл меня по отчеству — Пальч, я его — Михалычем. Таксист показал себя легко обучаемым и вскоре работал уже как настоящий персональщик.

Через месяц мне пришло письмо, что в течение недели я могу получить свой автомобиль, и я радостно и с праздником в сердце торжественно

объявил Михальчу, что он может получить новый немецкий агрегат и не использовать более личную машину. В ответ он лишь улыбнулся.

Когда мы выезжали из магазина, когда новенькая резина впервые коснулась московского асфальта, я вдруг испытал глубокое чувство мессианства. Я изменил жизнь человеку, подарив ему лучшую долю, а он, в свою очередь, освободит жену Настеньку от непосильного труда, и дети их больше не будут нуждаться.

Жизнь вошла в привычную колею. Я по-прежнему много передвигался по Москве, а Михальч делал свою работу безукоризненно. Иногда я привозил домой женщин, но мой водитель ни разу не пошутил на эту тему, и, когда я, бывало, говорил ему, что хороша была девка, он не реагировал — лишь опять улыбался. Через месяц я прибавил Михальчу зарплату, а еще примерно через столько же услышал от него такое:

- Слышь, Пальч, отпусти меня.
- Тебе завтра нужно или сегодня? — уточнил я.
- Совсем отпусти! — попросил водитель.
- Что-то случилось? Если нужна помощь — только скажи!
- Нет, Пальч, все нормально.
- Нашел другого, побогаче?
- Зачем ты так... Хочу вернуться в такси!
- Не понял, — удивился я. — Вчетверо меньше получать на своем драндулете?

— Не могу я... Как-то сподручнее в такси.

И я, не желая потерять такого нужного мне человека, которому делал только благо, принялся горячо убеждать Михалыча, что он совершает колоссальную ошибку, что судьба вряд ли выдаст ему второй шанс и его Настеньке придется опять вернуться на две дополнительные работы. Я чувствовал себя священником, наставляя на путь истинный совершающего ошибку прихожанина.

— Не сотвори глупость, Михалыч! — тихо и театрально произнес я.

— Прости, Палыч... Я отработаю две недели, не волнуйся...

Уже поздним вечером я вспомнил, что у меня есть его домашний телефон. Мне пришла в голову спасительная идея позвонить Настеньке, жене Михалыча, милой женщине, которой опять придется мыть сотни и сотни метров полов ежедневно. Я подумал, что трудолюбивая умная женщина сможет убедить моего водителя не совершать глупостей и не делать детей несчастными.

Я набрал номер с городского телефона и услышал в трубке грубоватое женское «Алло».

— Здравствуйте! Я с Настей говорю?

— Кто это?

— Это работодатель вашего мужа. Мне кажется, что он совершает огромную ошибку...

Я не успел договорить, как услышал в ответ крик.

— Да ты посмотри! — кричала женщина голосом хабалки. — Ты посмотри! Эта гадина еще звонит сюда! Срань такая! Ишь ты, вошь высокомерная, скотина тупорылая!..

— Вы, наверное, не поняли! С кем-то меня перепутали! — опешил я. — Это я вашего мужа на работу взял..

— Ну ты посмотри, какая наглая харя!!! Это, типа, он нам одолжение делает, сволота! Взял на работу! Вот морда наглетушая! Пидор!

Я положил трубку, испытал чувство ужаса... А потом выпил полбутылки коньяка, размышляя о мессианстве и неблагодарности за него. Все мои благолепные фантазии о нежной покорной женщине мигом рассеялись... В эту ночь я спал тревожно, то и дело просыпаясь от судорог.

Следующим утром Михалыч поджидал меня возле подъезда. Машина стояла здесь же, с выключенным двигателем.

— Ты прости ее, Палыч! Это она за меня вступилась!

— А я-то что тебе сделал?

— Любит она меня.

Я ничего не понимал, а потому молчал.

— И я ее люблю... Палыч, можно без двух недель? Возьми штраф какой хочешь!

Отсчитав, причитающиеся водителю деньги, я сел за руль своего автомобиля и выехал со двора.

Еще пару недель меня мучила эта странная, совсем непонятная история, пока я не нашел другого водителя. Постепенно я позабыл о Михалыче.

Прошли месяцы, я, как и всегда, мотался по тысячам нужных и ненужных дел, а новый водитель, Володя, молодой парень, был готов трудиться целыми сутками без усталости.

А как-то раз, стоя на светофоре, я увидел рядом со своей машиной желтое такси, за рулем которого сидел Михалыч. Он смотрел вперед, сжав руль рыжими руками, и глаза его светились, так как душа была при нем.

И здесь я вдруг понял.

Михалыч был капитаном собственного, пусть маленького, судна. Он сделал выбор оставаться самим собой. А быть капитаном хоть и огромного, но чужого лайнера он не смог. И любовь его женщины Насти состояла в том, чтобы, ничтоже сумняшеся, вернуться на две дополнительные работы и дать мужу жить свободным.

Мне стало до боли стыдно, что некоторое время назад я ощущал себя благотворителем, миссионером благополучия человеческого, тогда как все оказалось ровно наоборот. Михалыч и его жена дали мне бесценный урок, надев на мое «я» смиренную рубаху. Я понял, что в этом мире крайне слож-

но понять, кто кому делает добро, а кто зло приносит. Кто благотворитель, а кто дает возможность тебе сделать благое.

Машины тронулись на зеленый, и я, умерив свой внутренний высокопарный монолог, спросил своего нового водителя:

— Володь, у тебя все хорошо?



## ТОРТИК

Танин работал на крупной столичной киностудии в тон-ателье звуковым оформителем, по-простому говоря, шумовиком. В этот странный цех, где на озвучении фильмов взрослые люди имитировали, например, лошадиный храп или сопение младенца в люльке, его привел институтский товарищ. Случайно. Ему надо было занести матери, заведующей тон-ателье, забытый ею паспорт на путевку в Крым, и они, студенты физмата, забежали на фабрику грез всего на несколько минут. Напротив студии уже лет пятьдесят находился пивной бар, называемый в народе «Счастьем» — благодаря тому, что умирающие от похмелья бродяги, приползавшие сюда по утрам, вылечивались чудесным образом лишь одним большим глотком терпкого напитка. В баре студентов ждали друзья и килограммовый вяленый лец.

Но в этот день в пивную Танин так и не попал, леца не попробовал, пива не выпил, а завоженный происходящим в тон-ателье забыл обо всем. Он словно бы попал в детский сон, в котором можно было все. Стать, например, скрипучей телегой с помощью диковинного деревянного прибора, в котором имелась вертящаяся ручка, хорошо

высушенная: при ее проворачивании конструкция издавала натуральный тягучий тележечный скрип. Или оборотиться прелестными женскими ножками, бегущими по кромке синего моря — надо было просто шлепать ладошками по воде, налитой в тазик...

Забрав у сына паспорт, мать махнула рукой — мол, пусть товарищ посмотрит, а позже догонит. Сын согласился, вспомнив, как в детстве сам был очарован работой матери и ее коллег, похлопал однокурсника по плечу и напомнил о завтрашнем зачете.

Танин весь день проторчал на студии, увидел пару кинозвезд, выстроенный из папье-маше средневековый город, нескольких рыцарей, дерущихся на мечах во всем тяжеленном облачении, и много чего еще.

На завтрашний день студент Танин на зачет не явился, а, отключив телефон, присидел в комнате. Он думал.

Его отец, кандидат физико-математических наук, почти с самого рождения сына принялся приучать отпрыска видеть мир глазами математики. День за днем будущий академик втискивал в него различные формулы, алгоритмы, системы. Рассказывал о выдающихся представителях их профессии, о математическом смысле мира, а сын благодарно внимая родителю и легко впитывая точные науки,

в конце концов окончил математическую школу с серебряной медалью. Дальше, естественно, в физмат. Отец, уже член-корреспондент АН, видя успехи сына и понимая, что далее мотивировать юношу незачем, отвлекся на свои академические дела.

Можно за одно мгновение разлюбить женщину и тотчас полюбить другую — так Ромео позабыл Розалинду, лишь только увидел Джульетту.

Не имея возможности самостоятельного выбора своих пристрастий, живя мечтами отца, он вдруг словно очнулся на дне озера, где вокруг была только вода из нолей и единиц. Танин оттолкнулся ногами от дна и, всплыв на поверхность, увидел совершенно другую картину мира, в которой его душа не просто жила, а проживала эту картину. Слегка подмороженная детством, сейчас она согревалась в лучах теплого солнца.

В конце недели Танин явился в отдел кадров киностудии и попросил места в цеху звукоформителей, сославшись на мать своего однокурсника. Зав. тон-ателье вскоре спустилась и уставилась на Танина как на ненормального. Она без мужа всю жизнь работала на трех работах, чтобы раскрыть математический талант сына, о котором ей втолковали в обычной школе: «У вас растет гений! Не упустите!»...» Она горбатилась до полуночи на взятки для поступления в специальную математическую школу, на поездки для участия в математических

олимпиадах, а этот мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту, у которого отец без пяти минут академик, вдруг решил все бросить и... Она не поверила ему, в его искреннее желание — ну потому что в это невозможно поверить, — а он уверял, что хочет попробовать. Женщина упиралась, объясняя, что вакансий у них нет, а если и появится, ему надо будет пройти период ученичества, после чего его, может быть, зачислят в штат с трехкопеечной зарплатой.

Он отвечал, что пускай, он готов и бесплатно. Он обязательно докажет, что сможет работать шумовиком.

— Елена Сергеевна, — заявил Танин, — я серьезный человек, вы знаете меня с седьмого класса, я никогда не бросаю слов на ветер и не совершаю необдуманных поступков.

— Вот именно! — ответила зав. тон-ателье — и вдруг поняла, что Танин не отступит, что в его голове жестко переключилось. Женщина взяла паузу, а потом поступила решительно: — Завтра к восьми!

Он никогда не пожалел о свершенной им революции в своей душе, работал истово, получая от труда какое-то огромное наслаждение. Он хрюкал за свиней, превращался в падающий водопад, в шипящую воду на раскаленных камнях финской бани. Он пукал и сморкался в русских комедиях, один раз ему даже доверили озвучить любовную сцену. Профессиональный артист не справлялся со стонами, а

у него получилось это изящно и страстно — так, что известная актриса Хатько, стонавшая с ним в паре, даже похвалила... За десять лет работы он выказал большущий талант в изобретении приспособлений для различных звуков, за который через десять лет был назначен на место Елены Сергеевны, уходящей на пенсию. Ему прибавили зарплату, которая стала чуть выше прожиточного минимума, а фотографию Танина повесили на Доску почета.

Здесь, на студии, он познакомился со своей будущей женой Татьяной, милой женщиной в теле, с покорными глазами, пахнувшей хлебом, в которой до него, Танина, никто ничего эдакого не мог разглядеть. Они поженились, и Татьяна со временем превратила его холостяцкую двушку в уютный, наполненный любовью дом.

— Ты Танин, а я Таня, — горячо шептала она мужу ночью. — Значит, ты мой. Предназначен мне.  
— Твой.

Вскоре у них родился сын, а через год второй. Подрастая, оба мальчика показывали большие способности к точным наукам, и лишь тогда отец Танина, академик РАН, познакомился с внуками. Он просидел с ними целый вечер, рассказывая про всякие алгоритмы, системы, нерешенные задачи...

На прощание отец велел Татьяне, чтобы она почаще привозила мальчиков на дачу — мол, такие способности надо развивать и он попытается оты-

скать для внуков время. Собственному сыну он на прощание лишь кивнул.

После ухода академика супруги переглянулись и улыбнулись друг другу. Они одинаково понимали этот мир, а оттого редко возникали темы, на которые нужно было дискутировать.

За семнадцать лет Танин отшумел за все, что можно. И скрипел, и изображал падение человеческого тела с высоты, придавал шуршащий звук бегущему по школьной доске мелу и, перетирая руками целлофан, рождал шум дождя...

Как-то вечером, после двойной смены, он, возвращаясь домой, зашел в магазин и купил небольшой вафельный тортик, совсем небольшой, на четыре кусочка. Денег на больший не хватило, так как еще нужно было купить молоко и хлеб.

На ужин Татьяна подала сосиски с вермишелью и вкусный салат с килькой. А потом, перед чаем, Танин вытащил из-под стола спрятанный до времени тортик и явил его миру. Мальчишки звонко кричали «ура!» — аж гудело в плафоне люстры, а Татьяна резала торт. Свои куски дети проглотили мгновенно, измазавшись в шоколадном креме, и жадно смотрели на тарелки родителей, в которых торт оставался нетронутым. И опять Танин и его жена Татьяна улыбнулись друг другу, а потом — детям, давая разрешение заполучить мальчишкам еще по кусочку...

— Ураааа!!!

Чуть позже погодков уложили спать. Когда Танин целовал их на ночь, то почувствовал запах шоколада. Он кивнул жене — мол, ложись тоже, а сам еще некоторое время сидел у окна, всматриваясь в ночь.

Танин лег в постель, когда жена уже спала, положив под голову большую белую руку. Она источала запах свежего ароматного хлеба, и он, уткнувшись ей в носом в грудь, мгновенно заснул.

Танин всегда улыбался во сне.

## НОРА

Она родилась в Саратове, окончила школу с золотой медалью и поступила в Саратовский государственный университет им. Чернышевского. Проучившись три года на врача, неожиданно, несмотря на протесты родителей, ушла в академический отпуск и переехала жить в Москву. В те годы дикого перераспределения ценностей почти все симпатичные девчонки страны связывали свое будущее счастье с необходимостью как можно раньше перебраться в столицу. Вот и Нору, заскучавшую на малой родине, поезд домчал до сердца России, откуда ее вынесло толпой на площадь трех вокзалов и она почти захлебнулась солнцем, висевшим над огромным городом и, казалось, светившим только для него одного. И для нее.

Первое время она жила у жадной старухи, встреченной на вокзале с транспарантиком «Сдаю комнату». Пружинный матрас, установленный на кирпичи, древний платяной шкаф и черно-белый телевизор, экран которого прикрывала кружевная салфетка. И целыми днями старая ведьма назойливой мухой пилит, чтоб мужчин не водить, никаких гостей, а уж если приспичило, то плати за двойной постой.



— Хорошо, Алена Ивановна!

— Я Маргарита Петровна! — злилась старуха.

За неделю такой жизни Нора оправдала Раскольникова...

Она была неглупа и знала, что ежедневно в столицу высаживается многотысячный десант таких же, как она, симпатичных, красивых, очень красивых и готовых почти на все девочек, чтобы полететь к звездам своих мечтаний.

На второй день ей удалось устроиться в магазин женской одежды, где она проработала два месяца. Зарплата была мизерной, и Нора решила, что роль продавщицы ведет в никуда. В Москве, чтобы прожить достойно, нужны приличные деньги, а заработать их можно было только одним способом. Она вовсе не собиралась становиться проституткой — но лишь стриптизершей в маленьком ночном клубе «Мимоза». Отбор прошла без трудностей, велели показать только грудь, трусы снимать не заставили, хотя она и была готова к полному разоблачению, накануне посетив косметолога. Собственно говоря, и в клубе, уже работая на шесте, Нора трусов не скидывала — танцевала топлес. Хорошие деньги платили только за приват-танец, где полное обнажение было само собой разумеющимся. Хотя и неопытная, но умная от природы и родителей, она понимала, что в клубе можно разрешить себе почти все, только не переходить самой последней

черты: не спать с клиентом. Если не удержалась — тогда все! Ты проститутка, а, как рассказывали девчонки, это еще тот наркотик, покруче героина: и деньги, и удовольствие, а главное — доминантное ощущение, что ты всем нужна, без тебя никак..

Владельцем клуба оказался богатый совсем молодой человек, открывший «Мимозу» лишь для своих многочисленных друзей и их прихотей. Окончив Плехановский, он заработал состояние на собственной гениальности, торгуя на мировых биржах ценными бумагами. Он никогда не связывался с криминалом, как, впрочем, и с властью, предпочитая быть не замеченным и теми, и другими. Бизнесмен довольно часто посещал «Мимозу», где, будучи человеком молодым, удовлетворял свои мужские потребности, а заодно проводил неофициальные переговоры с китайцами, индийцами и представителями иных цивилизаций. Он быстро заприметил Нору, новенькую милую стриптизершу, и отправился с ней в VIP-комнату, где она прекрасно станцевала, соблазняя владельца своими прелестями. Порозовевший от возбуждения, он вытащил из кармана пачку долларов, отсчитал тысячу и протянул Норе. Девушка отказалась, объяснив, что работает без интима, он предложил ей еще денег, но она лишь повторила «Простите», а когда молодой человек протянул ей всю пачку, коротко чирикнула «Сорри» и выскользнула из комнаты. Позже владе-

лец клуба, давая наставление директору, ухмыльнувшись, обмолвился о новенькой, которая отказалась от десяти тысяч баксов.

— Я ее обломаю! — нахмурился директор.

— Не обломаешь! Не хочет — дело ее! — Хозяин бросил на стол двести долларов. — Отдашь ей за приват! Проверю! Ведь заныкаешь!

С тех пор Нора видела владельца не часто, но, появляясь, он всегда ее замечал и здоровался, улыбаясь, но не было в этой улыбке похоти. И без Норы разномастных девок в клубе хватало. Она продолжала спокойно работать чистой стриптизершей, и никто ни к чему ее более не понуждал. Конечно, клиенты ею интересовались, но директор тотчас оповещал, что она ни с кем и никогда.

Нора сняла приличную квартиру в центре и поставила себе задачу купить в Москве хоть какое-то жилье, затем бросить «Мимозу», перевестись в московский мед и, отучившись, стать гинекологом, выйти замуж и родить детей. Даже у самых умных девушек простые планы. Но ох как эти планы сложно осуществить! Деньги хоть и откладывались, но малые, так как хотелось жить сегодня, да и ухаживать за телом было архидорого. Ночная жизнь сначала выбеливала кожу, затем истончала. Лишенный солнечного света, организм терял былую выносливость, и радостное ощущение от жизни тонкой струйкой вытекало из юной души...

Нора понимала, что выбрала путь в никуда, но другой дороги не видела, и отчаяние потихоньку овладевало ею.

Помогла Лариска, простая деваха без затей и отказов. Работала по полной и из клуба почти не выходила.

— Не хочешь раздвигаться — иди на массаж с хеппи-эндом!

— С чем? — не поняла она.

— Со счастливым концом.

— Это как?

— Делаешь массаж клиенту, а в конце он должен приехать в твой нежный ротик.

— Ты же знаешь! — разочарованно ответила Нора. — Я без интима.

— А здесь и не будет интима! Это хитрость! — И Лариска поведала, как все проворачивается. Клиент всегда минимум нетрезв и, пока ты ему делаешь массаж, лежит колодой. Потом его надо перевернуть на спину и всего лишь ладошкой коснуться внутренней поверхности бедра. Мужик, как правило, этого ждет, он готов, и у него все готово. Ты ложишься головой ему на живот, только затылком, это главное, зажимаешь хозяйство между щекой и плечом, а потом туда-сюда-обратно. Они ни в жизнь не поймут, что не в рот попали. Ощущения те же, но ты чиста. А если еще возьмешь свой пальчик, как в детстве, в ротик и издашь нужные зву-

ки — клиент опустошится на раз-два... — А вообще, подруга, перестала бы ты ломаться и работала бы как все. Нельзя и рыбку съесть, и на х... не сесть... Да, — предупредила Лариска, — нельзя, чтобы он смотрел!

Нора быстро обучилась фокусу, и денежка пошла побольше. Во время интимного обмана она гладила клиента по лицу, а если он пытался сесть на массажном столе, легким толчком в грудь отправляла обратно, нежно покручивая мужской сосок тонкими пальчиками.

Директор этот фокус тоже знал, но клиентам не раскрывал.

У Норы появились поклонники, и девушка смогла откладывать суммы значительнее.

В одну из пятниц в «Мимозе» появился мужчина лет тридцати пяти, черноволосый, статный и с пронизывающим взглядом больших глаз. Арабский принц, подумала тогда Нора. Но гость оказался отечественным, к тому же большим другом хозяйина. Директор потом объявил всему персоналу, что для черноволосого красавца все бесплатно — кроме интимных услуг, само собой.

Альберт, так звали мужчину, с ударением на первую «А», как у принца Монако, был веселым жизнелюбивым человеком. И не бизнесменом он оказался, а мировой известности скрипачом. Девчонок никогда не обижал, пел с ними в караоке, ну

и от плотских радостей не отказывался. Зато алкоголь почти не употреблял — но то и понятно: как извлекать из скрипки виртуозную музыку дрожащими пальцами? Альберт, вернувшись с очередных гастролей, непременно объявлялся в «Мимозе» и радовал танцовщиц щедрыми чаевыми.

16 ноября, в свой день рождения, скрипач появился в клубе прилично выпившим, был не слишком весел, с девочками не заигрывал, а попросил директора объявить парад-алле — это когда все работницы древнейшей профессии под томный голос ведущего выходили на сцену с голой грудью, а клиент осматривал плоть и делал выбор.

Он указал на Нору. Директор предупредил, что девочка работает без интима, на что Альберт согласно кивнул.

Она станцевала ему в ВИП-комнате пять раз подряд. Он не дотронулся до ее тела и пальцем, затем резко встал, взял за руку и, наклонившись, шепнул в ухо:

— На массаж.

Он ей нравился, и она старательно массировала его немускулистую спину, тонкие, но сильные руки, а потом привычным движением перевернула скрипача и стала демонстрировать фокус «шея-плечо». Туда-сюда-обратно... Работая, она отвлеклась, почему-то вспомнила Саратов, улицы города, институт. Виртуоз гладил ее по собранным в пучок волосам,

Нора вспомнила руки матери, а потом вдруг поняла, что у нее во рту вовсе не собственный пальчик, а... Она хотела было это выплюнуть, но здесь все закончилось.

Нора сидела на полу здесь же, в массажной, и плакала. Альберт ее успокаивал и говорил, что она ему нравится, что ничего страшного не произошло, тем более что это было всего один раз и ничего не значит. Он сказал, что знает этот довольно распространенный фокус, фактически обман, а потому так и вышло, как на то был уговор. Слезы из глаз Норы текли рекой, она пила шампанское бокал за бокалом, и в ее голове все словно бетоном сковало, будто жизнь кончилась.

Он просидел с ней два часа, пока сил рыдать у девушки не осталось и слезы не высохли, Нора только икала и всхлипывала. Альберт попросил рассказать, какими судьбами она оказалась в «Мимозе».

Все девочки имели заготовленный на такой вопрос детальный рассказ, и Нора, все еще икая, поведала, что в Саратове у нее был молодой человек с хорошими деньгами, делавший ее жизнь простой и легкой, но потом его по ложному обвинению посадили в тюрьму, а все материальное отобрали. Так она и оказалась в Москве.

Альберт посочувствовал ей, хотя отлично знал все эти шлюшкины байки. Потом спросил:

— Я тебе нравлюсь?

— Да, — ответила она, всхлипнув.

Тогда он предложил ей эксклюзивные встречи на интимной основе.

— Это будет твой выбор! — мотивировал скрипач. — Ты сама меня выбрала, и ты не проститутка, так как я буду платить тебе не за секс, а просто давать деньги на всякие мелочи и дарить подарки. Тебе больше не придется заниматься массажем...

И она ухватилась за это предложение как за единственную возможность отмотать время, сделать самостоятельный выбор и обмануть себя, успокоив, что все принципы остались незыблемыми и у нее просто появился бойфренд, очень известный скрипач...

Когда Альберт появлялся в «Мимозе» после гастролей, теперь он выбирал только Нору, которая не заметила, как влюбилась в черноволосого красавца, и теперь исполняла все его интимные прихоти уже по собственному желанию. Он действительно оказался щедрым, и девушка уже через три месяца ездила на маленьком, но очень хорошем автомобиле.

Через полгода «дружбы» Альберт все чаще стал заговаривать с Норой о ее уходе из «Мимозы». И не то чтобы он предлагал ей что-то взамен, жизнь вместе или помощь в обычной жизни — нет, он вкладывал в ее голову мысль, что такая жизнь смертель-



но опасна и если Нора думает, что наступит время и она сможет уйти из бизнеса, то она жестоко ошибается.

— Через пять лет ты перейдешь в клуб классом ниже, затем в стрип на окраине города, в тридцать — тяжелая работа при дешевом мотеле, а потом — вокзалы. Понимаешь это? На моей памяти еще ни одна девочка не вырвалась из этой трясины!

В сверкающих глазах Альберта было что-то от купринского студентика, но, в отличие от художественного персонажа, скрипач был женат и хоть и говорил, что с женой все условно, но и как Норе прожить эту жизнь после ухода из «Мимозы», решений не предлагал. По-прежнему не звал с собой даже любовницей вне стен распутного клуба. Они всего лишь несколько раз встретились за его территорией, на даче музыканта, когда его жена находилась в Париже: было хорошо — но и все!

— Уходи! — не отставал он. — Уходи оттуда!

И она решилась. В один день объявила об этом директору, а уже через неделю поменяла квартиру на более дешевую в спальном районе.

Нора устроилась официанткой в грузинский ресторан и в свободное время сидела за учебниками, чтобы как можно скорее восстановиться в институте. Альберта она видела не часто, на свиданиях они все больше разговаривали, нежели предавались любовным развлечениям, он пытался ее мотивиро-

вать, чтобы она не вернулась к прежнему, оставлял немного денег, давал читать книги классиков, того же Куприна, а Нора, золотая медалистка, делала вид, что впервые слышит обо всех этих авторах, понимая, что Альберту нравится быть ее спасителем, вырвавшим девичью душу прямо из ада. Нравится — пусть хоть Христом будет!

Они стали реже встречаться, быстро охладевая друг к другу. Альберт — оттого что в Норе исчезла та порочная изюминка, которая волновала его кровь, а она пресытилась его спасительными речами. Они иногда разговаривали по телефону, а когда Нора провалилась в мед и уехала в Саратов к родителям, их связь прервалась вовсе.

Нора решила не восстанавливаться в институте, устроилась в Дом культуры, где полтора года преподавала танцы, а затем вдруг выступила на городском конкурсе красоты и неожиданно завоевала звание «мисс Саратов». Но времена были уже не те, денег дали совсем немного, но подарили ваучер на недельное проживание в лучшем московском отеле «Националь».

Здесь, в лобби знаменитого отеля, она случайно встретилась с Альбертом — он поднимался из казино в бар, а она спускалась в дамскую комнату.

Увидев ее, скрипач передернулся. Сначала он решил сделать вид, что не заметил ее, но, проходя, почти коснувшись ее плечом, не выдержал:

— Сломалась, девочка! Второй этап, путана в гостинице? Я тебя предупреждал.

Нора улыбнулась ему. Она давно и хорошо понимала суть Альбертовой души. Скрипач злился, что его усилия оказались тщетными, что он, великий, пророк, чье пророчество сбылось, потратил на мелкую шлюху свой запал спасителя впустую. Ему от этого было очень больно. Нора, будучи девушкой доброй, успокоила музыканта, объяснив, что ему не о чем волноваться, что именно благодаря ему ей удалось выскочить из жизненной западни, когда чуть было не сорвалась в пропасть небытия ее душа, а сейчас она в гостинице на отдыхе — премия за звание «мисс Саратов».

Скрипач переменялся в лице и уже через минуту улыбался, лицезрея перед собой собственный успех, пригласил девушку на ужин, прослезившись, просил прощения, восхищался красотой, а потом предложил полететь в Сочи, где собиралась компания его друзей. Так, по дружбе. У него молодая жена, если что!

— А вдруг и ты встретишь там кого!

Она согласилась и прекрасно провела неделю на газпромовской заимке. Женщин в компании было немного, но мужчины по отношению к ней вели себя сдержанно, ни малейшей попытки флирта. Этим состоянием дел Нора была довольна, она купалась в море, загорала и отсыпалась.

В понедельник Альберт принес в ее комнату билет на самолет до Москвы:

— Разлетаемся... Увидимся...

Машина довезла ее до Адлера.

В комнате отдыха на вылете она познакомилась со своим будущим мужем, человеком взрослым, сложным, но хорошим. После свадьбы она тотчас забеременела и целиком погрузилась в будущее материнство, благодаря Бога за то, что он подарил ей долгожданное счастье. Она позвонила Альберту, сообщив ему о своей радости.

— Твоя заслуга, — сказала. — Будет девочка!

— Будь счастлива!

А за три дня до родов во время ультразвука наблюдающий врач-акушер Элия Казгоев сообщил, что плод внутри нее мертвый. Вероятно, ее любимая девочка запуталась в пуповине и задохнулась. Так бывает.

Она рожала мертвого ребенка совершенно одна. В рваной родильной рубашке, почти черная от горя и нестерпимой боли, двое суток издыхала в корчах родов, пока Казгоев не явился и не вытаскивал из нее мертвое тельце.

— Скотина! — прошептала она акушеру.

Позже Нора узнала, что никакой врач, ни одна акушерка не захочет принимать мертвый плод — нехороший знак.

Приходя в себя, она первый раз в жизни подумала, что человечество в основной массе своей злое. Но вспомнив мужа и почему-то хозяина «Ми-

мозы», переменяла мнение. Все-таки есть много добрых и порядочных людей.

Ее муж долгое время не мог находиться с ней рядом. Молчаливо скорбящий, он все время работал, старался приходить ночью, спал коротко, а она не имела возможности выговориться самому близкому человеку. Поделиться с ним болью, рассказать, как ей невыносимо заходить в приготовленную детскую, и много чего еще...

Через три месяца Нора физически оправилась и вспомнила Альберта.

Она позвонила ему и попросила о встрече.

Они сидели в японском ресторане, скрипач много ел и слушал рассказ Норы о случившейся с ней трагедии. Альберт, казалось, понимал ее чувства, разделял горе, чуть было не прослезился, когда она рассказала, как ее девочку словно батон колбасы завернули в простыню и унесли в морг. А в ответ услышала от него:

— За все в жизни надо платить! Я говорил тебе, Нора! Это твоя плата!

Нора тогда подумала, что в жизни никогда более не встретится с Альбертом.

Но лет через восемь он сам позвонил ей и предложил увидеться.

Постаревший и обрюзгший, скрипач жаловался на жизнь, женщин и правую, смычковую, руку. Она все чаще дрожала, а он боится идти к врачу — вдруг это паркинсон или психосоматика?

— Оба мы с тобой какие-то несчастные! — по-дытожил скрипач.

Нора улыбнулась и рассказала виртуозу, что через полтора года после неожиданной смерти ребенка она родила чудесную здоровую девочку Анечку. А еще через три — вторую, Любушку, затем третью, Дарью. Нора поведала Альберту, что все же окончила медицинский, но работает только в своем дачном поселке — так, для радости, времени-то нет: трое детей, любимый муж, родственники, друзья... А еще открыла Альберту старую тайну свою, что после ухода из «Мимозы», уехав в Саратов, она обнаружила, что беременна от него.

— Я бы родила! — объяснила Нора. — Но заболела пневмонией и после приема сильных лекарств испугалась, что ребенок может родиться нездоровым. Ты знаешь, антибиотики...

— Аборт сделала?

Она кивнула:

— Сказали, что мальчик был бы здоровым. А у нас только девчонки!

— А у меня нет детей... И в жизни почти ничего... Кроме трясущейся руки.

— Кстати, меня зовут Света. А Нора — сценическое имя... Не знал?.. Ты много сделал для меня, — нежно произнесла она и погладила Альберта по щеке. — Но за все в жизни надо платить. Это твоя плата...

## ХОРОШИЙ ДЕНЬ

На Ленинградском рынке, пахнущем маринадами, свежей зеленью и колбасными изделиями, в суете воскресного дня, когда сотня разномастных человек сновала между прилавками, выбирая на обед что-то особенно вкусненькое и свежее, произошла завязка этой нехитрой истории.

В самом сердце рынка, на проходном месте расположился мраморный прилавок мясника Дрыкина. Огромный, пузатый, с руками исполина, татуированными разными фривольными изображениями, он возвышался среди коллег памятником Петру Великому — таким суровым был взгляд у Дрыкина, и прищур маленьких глаз соответствовал. Всякому было видно, что это он поднял Россию с колен, а сейчас Ильей Муромцем охраняет ее от варягов. Каждые пятнадцать минут мясник Дрыкин показывал народу фокусы с топором, подкидывая тяжеленный инструмент и ловя легко, словно гиревик в цирке. И через локоть бросит, и через колено... Финалом короткого выступления было разрубание напополам свиной головы одним ударом. Толпа охала от такой невиданной мощи и ловкости, а потому дрыкинские мясные деликатесы шли на ура.

В то же самое время вдоль прилавков сновал неприглядного вида гражданин в потертом пиджаке и штанах явно с чужого зада. Несмотря на осеннее время, ноги гражданина были обуты в летние сандалии, но имелись белые грязные носки с лейблом известного спортивного бренда. Девяносто процентов опрошенных сказали бы, что индивид явно бомжующий член общества — и угадали бы на все сто.

Гражданин останавливался возле прилавков с кислой капустой, солеными огурчиками, корейской морковкой, по-свойски все пробовал, нахваливая товар, а на все отсылы его во все непотребные отверстия лишь улыбался в ответ, демонстрируя нехорошие зубы с тусклым янтарным отливом. Он рассчитывал добраться до отдела с колбасами и там что-нибудь стянуть и закрыть — круг краковской, например, или кровяной колбаски кус. Какой-то кавказец, то ли армянин, то ли грузин, сунул ему пакет с засохшим лавашом, бомж поклонился в знак благодарности и закрестился быстро-быстро, прося у Бога хорошей жены для хача. За что был одарен большим бакинским помидором... Так, потихоньку набивая брюхо, гражданин добрался до колбасного ряда, где его поджидала неудача. Он уже почти затянул в рукав пиджака гирлянду московских колбасок, твердых и пахучих, осталось скрыть последнюю секцию, но все окончилось нео-



жиданно плохо. Без бранных слов, без какого-либо предупреждения продавщица колбас, баба в пуховом платке, наотмашь залепила ему по скуле, ловко выудила из рукава бродяги краденый товар и как ни в чем не бывало вновь занялась торговым делом. В голове у гражданина загудело, а из уха пролилась струйка крови. При своем образе жизни он не раз был бит, имел увечья на теле, а потому его организм был хоть и потрясен, но никак не удивлен событием и продолжал функционировать, несмотря на оглохшее ухо. Пришлось неудачливому воришке двигаться вдоль прилавков правым бочком, слышащей стороной, и клянчить у торговцев мясом ненужные им хрящики, куриную требуху — бомж готов был забрать даже удивленные бараньи глаза... Сообщество ему подобных в подвале четвертого дома по Балтийской улице никак не ожидало его с пустыми руками. Принес что-то стоящее — и место спальное получше, возле костра, а нет — ищи холодный чердак... Где-то ему подали кусок завонявшего сала, а рябой мужик, распродавший к этому времени весь свой товар, протянул убогому пластиковый пакет с несколькими посиневшими трупиками цыплят. Вот удача, так удача. Сегодня он будет спать у костра, сытый и счастливый... Довольный подношением, до выхода он уже почти не побирался, лишь остановился возле главного мясника, возвышающегося над ним Голиафом. Гражданин задрал

голову, дабы взглянуть на обладателя могучих телес, но в раненом ухе стрельнуло, и он, оставив развлечение на следующие выходные, поплелся к выходу.

— Чашкин! — услышал он громогласный голос в спину — и замер. — Чашкин!

Он обернулся, пошарил глазами и понял, что призыв исходит от самого мясника.

— А кто спрашивает? — неожиданно для себя поинтересовался гражданин.

— Чашкин, это ты?

— Я... — с удивлением ответил бомж. — Чашкины мы...

Облокотившись о мрамор прилавка, мясник — король рынка, бог топора и говяжьей печени — вдруг улыбнулся, и в маленьких глазках исполина просияло как от коктейля незамерзайки и дихлофоса.

— Чашкин, друг! — распростер объятия Дрыкин. — Чашкин, ты ли это, брат мой?!!

Гражданин без особого места жительства всегда был готов к подставе, к подлости человеческой, а потому не бросился оголтело обниматься со столпом рынка, лишь сделал маленький шажочек в сторону.

— Так точно, фамилия моя Чашкин. Мы как-то знакомство имеем?

— Чашкин! — вскричал мясник, вознося огромные, наколотые голыми бабами руки к небу. — Да я это! — Он улыбался во все огромное небритое лицо. — Я это, Чашкин! Дрыкин! Не узнаешь, брателло?!

Услышав фамилию, гражданин замер на месте, затем шумно втянул в себя соплю и, просияв лицом, вдруг опознал в великане-мяснике своего старого друга, одноклассника Колю.

— Колян?! — ослабился Чашкин. — Колян Дрыкин!

— Ну, наконец-то!

— Колян — в сиську пьян? — уточнил Чашкин и бросился в объятия старого друга.

— Помнишь, Вова! — тискал Чашкина в объятиях Дрыкин. — Вовка — в жопе морковка! — Мясник даже поцеловал друга в щеку от чувств. — Ну и рад же я!!!

— И я, Колян! — Из глаз бомжа текли слезы. — Колясик, дружбан! — Он привстал на цыпочки и, дотянувшись до подбородка мясника, чмокнул в него.

Наблюдающий за этой картиной, за неожиданно явленной ему идиллией народ умилялся словно на просмотре индийского кинофильма. Все были в этот момент едины как в День Победы. Тетка в пуховом платке совала Чашкину московские колбаски, но Дрыкин решительно отодвинул ее от драгоценного друга...

Этим воскресеньем Дрыкин закончил работу до срока, оставив вместо себя подмастерье, и потащил Чашкина к себе домой отметить столь чудесную и неожиданную встречу. Понюхав чашкинский пакет, он фыркнул и бросил его в сторону мусорного бака.

— Цыплята! — вскричал Вова.

— Будут взамен тебе бройлеры, Колян! И все, что захочешь!

Дрыкин и Чашкин шли по улице обнявшись, как школьники, только что поклявшиеся друг другу в вечной дружбе. Лет двадцать пять назад так оно и было. Возле забора, на котором они начертали два самых известных матерных слова, школьники поклялись быть неразлучными.

— Бля буду! — произнес нужные слова будущий мясник.

— Бля буду! — поддержал Чашкин.

По пути они купили три бутылки водки и две трехлитровые бутылки пива.

— Как я рад! — вновь воскликнул Дрыкин и обнял друга так, что захрустели кости. Но счастье Чашкина переполняло его душу, а оттого и дружеские объятия были легки, и в раненое ухо вернулся слух. Он так же искренне отвечал на слова друга забытыми словами. Искренность вернулась в одно мгновение и облагодарила обоих мужчин.

Пока добирались до дрыкинского дома, друзья как-то незаметно выпили одну бутылку водки и изрядно укрепили ее действие пивом.

Василиса Дрыкина впустила мужа и его друга в квартиру, но на обрюзгшей физиономии ее с темно-желтыми кругами под глазами радость не воспылала, хотя благоверный и орал на всю квартиру:

— Так это же Вовка — в жопе перловка! Ты что, не узнаешь?! Ну самый мой лучший друг! Это мы с ним тебя тискали в седьмом классе!.. Давай, мечи на стол!

Супруга короля рынка недовольно поплелась на кухню, где принялась что-то готовить. В комнатах был слышен мясной запах.

Дрыкин вытащил из серванта два стакана и большие бокалы для пива.

Накатили без закуски по соточке, хрюкнули в унисон, а затем Дрыкин выдернул Чашкина из-за стола и потащил друга к окну. Раздвинув тюль, он открыл для осмотра городской пейзаж. Под окнами его дома располагалось трехэтажное здание, рядом с которым находилась спортивная площадка с играющими в футбол пацанами.

— Узнаешь?! — прокричал Дрыкин. — Приблизившись к окну, Чашкин вглядывался. — Ну, Вовец — в жопе трындец! Ну, узнаешь?!

— Школа? — неуверенно произнес Чашкин.

— Ну!!!

— Наша школа?

— А то чья! Конечно, наша! А из нашего окна, — продекламировал Колян Дрыкин, а дальше друзья закончили хором: — Площадь Красная видна! — И их опять потянуло на объятия.

Чем громче было в квартире, тем хуже становилось настроение дрыкинской жены. Она, ко-

нечно, помнила этого говнюка Чашкина, который в школе щипал ее за все места, а потом женился на хромоногой Шляпкиной... Женщина уставляла стол закусками, то и дело возвращаясь из кухни в комнату.

— Не отвечивай! — рыкнул Дрыкин. — Мелькаешь!

— Тогда сами себе готовьте! — злилась Василиса.

— Но-но! — пригрозил Колян. — И мясо пожарь! Я там вчера отбивные выложил из морозильника!

Друзья ели от живота и пили по возможности. Судя по скорости исчезания напитков, возможности имелись серьезные, с резервом. Под мяско, капустку, колбасу они вспоминали свое детство: как чудили в школе, как таскали булки с хлебной фабрики, как подложили классной руководительнице под жопу пердунок — она потом еще на неделю слегла от позора, как взрывали школьные унитазы, заложив в керамику магний с алюминиевым порошком, а потом говнище текло по всем трем этажам. Они смеялись, на время убежав в свое детство, запивали каждый припомненный эпизод водкой и продолжали оставаться счастливыми.

Бывает на всяком застолье неожиданная минута затишья, когда каждый думает о чем-то своем, прислушиваясь к работе органов чувств. Вот

и Колян с Вованом словили такую минуту. Дрыкин вспоминал, как отец учил его плавать, а Чашкин раскладывал по карманам несъеденные отбивные. Минута прошла, Дрыкин, словно очнувшись, засмеялся и разлил.

— За нас! — прогремел он.

— За нас! — поддержал Чашкин.

Выпили, утерлись. Вечерело.

— Вовка — в жопе страховка! Ты же вроде женился после армии?

— Ага, — согласно кивнул Чашкин.

— На этой... как ее?... Кепкиной?

— Шляпкиной.

— А, да, вспомнил. И как там у вас?

— Шляпкина умерла, — улыбнулся Чашкин. —

Уже давно!

— Слышь, Василиса! — закричал Дрыкин. — Шляпкина Вовкина померла!

Василисе было по барабану — как Шляпкина, так и Чашкин.

— Ага! — откликнулась она с кухни.

— А дети были?

— Двое пацанов.

— Тяжело без матери...

— Они тоже померли...

— Ох ты, ешкин кот! А что случилось-то?

— От яичницы померли.

— Как это — от яичницы? — удивился Колян.

— Ну, от сальмонеллы, — уточнил Чашкин. — Микроб такой. Я их от гриппа лечил, а они, вишь... В четыре дня все трое сгорели.

— Вот мать честная!.. Слышь, Василиса, у Чашкина двое пацанов померли... А ты как же выжил?

— У меня аллергия на яйца, чешусь неделю!

— Вот, Бог отвел! — Дрыкин тяжело вздохнул, сказал Чашкину, что тот везунчик, затем вновь улыбнулся и в десятый раз предложил тост «За нас!».

Подступала ночь, друзья прилично опьянели, и настало время прощаться. Дрыкин отвел Чашкина в кухню, где, несмотря на протесты жены, открыл огромный холодильник и набросал из него полную сумку деликатесов для друга. В дверях они поцеловались, пообещав друг другу видеться чаще. Настроение у Дрыкина было отличным, только вот в сон клонило. Он вспоминал прекрасный вечер со старым другом, где-то в глубине своего сознания понимая, что это была их последняя встреча... Хорошее ощущение пыталась испортить супруга, начав пилить мужа за экономический подрыв семьи: мол, божу вонючему тысяч на тридцать отвалил. Дрыкин ударил ее в глаз и, раздеваясь, уточнил:

— Это Вован! Друг мой!

Он лег в кровать, подумал, что день удался, и крепко-крепко заснул.

Так же крепко спал и Чашкин — на мягком матрасе возле костра.



## РЕВНОСТЬ

Суббота с Пресным сидели на корточках во внутреннем дворе большого детского магазина, курили, сплевывая на асфальт, и вели тихий разговор.

Они были знакомы лет двадцать пять, еще на малолетке свела их судьба, но спаяла надолго. Оба были преступниками, но беззатейными, бесхитростными, шли на преступления без подготовки, так как попросту не хватало смышленности. С возрастом умелости прибавилось, но мозги как были неповоротливыми с детства, так и остались к сорока годам неподвижными. Клички у мужиков были незатейливыми, образованными от фамилий. На отсидках к ним относились с уважением, но не с тем, которое полагалось авторитетным ворам. Ничего серьезного преступное сообщество им не доверяло — так, следить по мелочи за мужиками и объяснять первоходам разницу между блатными и фраерами.

К сорока оба отсидели почти десятку по совокупности. Четыре посадки, в среднем по два с половиной года лишения свободы.

Сейчас, во дворе детского супермаркета, они не готовили какого-то преступления, не замышляли дурного — просто курили и имели разговор за жизнь.

— Изменяет она мне, — неожиданно признался Суббота корешу.

— Кто? — не понял Пресный и погладил красный шрам через всю правую щеку.

— Ирина.

— Ирка?! Что, поймал?

— Нет, — сплюнул Суббота, сверкнув фиксой. — Но чувствую.

— А! — махнул почти синей от наколок рукой Пресный. — Здесь чуйка часто не в тему. Пока не словил бабу, не гони события.

— Тяжко.

— Понимаю...

Дальше они немного посидели молча, поглядели, как грузчики разгружают самокаты и велики, а потом, закурив по следующей, продолжили.

— И пьется тяжело, — Суббота почесал почти лысый затылок. — По три дня отойти не могу.

— Такая же херня! — поддержал друга Пресный. — Даже чистая белая сил лишает. Пробовал вискарь — так блевал потом неделю.

— Изменяет...

— Брось!

— У нас дети.

— Да не Ирку, а мысли гони из башки!

— Вот чувствую, — почти простонал Суббота, сжав голову ладонями, — жопой чувствую, что изменяет!

— Ну вот что?! — осерчал Пресный. — Что ты чувствуешь?

— По-всякому... То запах мужика чужого улавливаю, то от нее бабской похотью шибает.

— Так может, это она по тебе текет?

— Нет, — нахмурился Суббота. — Когда я в нее лезу — сохнет...

— Либо выбрось из башни мысли такие, — посоветовал кореш, — либо разберись с ней, а то башня обрушится. Помнишь фраера, который без фомки банкоматы вскрывал каким-то хитрым приборчиком, помнишь, как его накрыло от мыслей о его телке, которая там, на воле, без него трусы народу показывает? Как ее?

— Манекенщица.

— Во! Модель!.. Помнишь, чем кончилось? Помнишь, как он вскрылся ночью?! Как шлепали мужики босыми ногами по кровянице его?! Гони больные мысли!

Как бы Суббота ни хотел, чтобы из мозгов стерлись убивающие его подозрения, ничего не получалось. От водки становилось еще хуже, только марашет на некоторое время давал отдых. Зато потом, в расплату, он все более погружался в пучину дремучего подсознания. Рецидивист последние месяцы был подавлен, врачи про такое состояние говорят — тяжелая депрессия. Но Суббота о таком понятии даже и не слышал.

— Я с ней уже пятнадцать лет!

— Почти расстрел по-старому, — пошутил Пресный, но, поймав недобрый тяжелый взгляд товарища, постарался перевести разговор на другую тему. — У меня тут есть один лох, китаеза, он у Хрюни будет вечером. Можем пошпилить. У него лавэ как грязи. Под ним сто вьетнамцев бухло паленое созидают. Отымеем и на общее четверть отдадим.

— Да, — согласился Суббота. — Давно не заносили.

— Ну вот и хорошо! — Пресный притушил об асфальт сигарету и заложил бычок за ухо. — Сегодня вечером у Хрюни!

— Нет, — отказался товарищ. — Я домой.

— А как же на общее?

— На общее? — Суббота поднялся с корточек и потянулся на мысках изношенных ботинок. — На общее в следующий раз! — И пошел в сторону троллейбуса.

Пресный сплюнул товарищу вслед, сверкнув своей фиксой.

Дети гостили у тещи, и по пояс голый, весь в наколках, с четырьмя куполами на спине, Суббота ужинал с водкой, дымя табаком, а жена приносила с кухни на стол. Он с трудом проглатывал куриные котлеты, не замечая вкуса, даже пахучее сало не лезло в горло. Суббота поглядывал на жену, и в голове у него кружилось. Женщина старалась угодить

мужу, но он не замечал ее стараний, а продолжал пить водку, пока жена не подметила, что уже вторая поллитра на исходе. Он встал и вышел из кухни в туалет. Справив малую нужду, он открыл створки настенного шкафчика и достал из него маленький туристический топорик. На Субботу накатила такая пронзительная тоска, все пространство вокруг сузилось, как будто глаз смотрел в подзорную трубу с другой стороны. Он вышел из туалета и вернулся в кухню, где жена мыла посуду. Не помня себя, Суббота размахнулся и ударил женщину топором сзади. В последнее мгновение она обернулась, и острие прошло по правой стороне головы.

Ему дали восемь строгого, так как жена выжила. Топорик прошел по касательной, отрубив ухо.

Ее почти год лечили. Привели в порядок лицо и посоветовали носить парик с длинными волосами, чтобы закрыть след от отрубленного уха. Женщина обещала отрастить волосы, с тем ее и выписали. Она не стала сразу забирать детей у матери, а попросила у лагерного начальства, руководящего зоной, где отбывал муж, семейного свидания на сорок восемь часов. Ей разрешили.

Суббота давно раскаялся в содеянном и даже к Богу стал приближаться, хоть и малыми шажочками. Он писал Ирине покаянные письма, короткие и кривые, так как не был силен в эпистолярном жанре, да и ум не мог подобрать правильных слов.

Она ему отвечала. Писала, что лечение проходит успешно, что дети учатся и она скоро навестит его... Суббота от радости решил креститься, но только в тот день, когда она приедет. Договорился с кумом зоны, чтобы жену пустили на таинство, и терпеливо принялся ждать свидания.

А потом она приехала с двумя тяжелыми сумками провизии, улыбающаяся, с длинными волосами.

Его окрестили воскресным днем в лагерной часовне, он чувствовал себя обновленным и улыбался жене. У него впереди были сытые сутки почти вольной жизни... На выходе из часовни какая-то босота сунула ему в ладонь маляву. Он пошел к бараку для свиданий и прочитал по ходу мелко написанный на папиросной бумаге текст, в котором говорилось, что его жена Ирина по-прежнему ему изменяет. И факт неизвестный раскрыли, что жена фачится с его другом Пресным. Последнее добило зэка окончательно. Следующие сутки он не ел, не пил, к жене не прикасался, попытался было найти облегчение от невыносимой боли, сжав в руке крест, но душа разрывалась... У него проскользнула мысль забить жену здесь же, в комнате, на свидании, он даже с кровати поднялся и взял со стола с недоеденным ужином ложку. Отломил черпак, сжав черенок, замахнулся, но вдруг услышал...

— Люблю я тебя, сердешный! — прошептала в ночи жена. — Вроде так поломал меня, а все равно люблю!

И вдруг Суббота поверил ей, да так, что новая вера — в Бога — стала второстепенной, третьестепенной, она вообще исчезла. Он еще не понимал, да и вряд ли когда вообще осознает, что Всевышний не играет ролей в собственном спектакле, и тем более не выходит на поклон... Выпавший из руки черенок ложки звонко прокатился по полу.

Он прилег к ней с края, боясь прикоснуться:

— А как же Пресный?

— А что Пресный?.. Клеился ко мне, но получил по морде, и каждый раз потом получал.

— А что же ты мне не сказала?

— Так он друг твой!

И вдруг Субботу осенило. Впервые в жизни его мозг зашевелился, образуя некие связи, которые помогли сделать неожиданный вывод, что маляву заслал не кто иной, как его брателло Пресный. Во рту пересохло, и он громко сглотнул пустоту. А следом подумал, что Пресный просто сам любит его Ирку, а оттого произвел такие движения. Ей в месть за нелюбовь — смерть, а его на пожизненное. Вот ведь как страдает друг, пожалел Пресного Суббота и тяжело вздохнул, вспомнив, что ни за что отрубил жене ухо.

— И я тебя, — прошептал он в ответ, а за окном тихо читал речевку вертухай: «Слышь, розочка! Тюльпань отсюда, а то как загеоргиню — обсиришишься!..» — И я тебя, люблю, Ира!..

— Спи, Васенька, — проговорила женщина нежно. — Спи, родимый!



## КОФЕЙНАЯ МЫШЬ

Елисей Комаров проживал в двухкомнатной квартире на первом этаже шестиэтажного дома вместе с глухим дедом. Несмотря на глухоту, дед оставался бравым солдатом, не позволял себе помогать, то есть обслуживал себя самостоятельно. Елисея это устраивало, хотя дед Андрей Семеныч был чужд всяческих правил гигиены, устроил из своей комнаты непроходимые дебри из развалов книг, ненужной мебели, каких-то сломанных еще в прошлом веке научных приборов, одежды, частично женской, и самого себя — вечно небритого, в длинных широких сатиновых трусах и с нависающим над ними огромным пузом. Другой одежды дед не терпел. И мусор он не выносил, оставляя этот бытовой поход внуку.

Сам Елисей любил порядок, причем идеальный, чтобы все на своих местах, чтобы чистенько было вокруг, карандашик к карандашику, нотная тетрадь с нотными тетрадями в аккуратную стопочку. Но такая жизнь ждала его впереди, а пока Андрей Семенович за время двухчасового отсутствия внука умудрялся сделать из аккуратно убранной комнаты Елисея сестру-близнеца своей берлоги.

Каждый раз, возвращаясь домой, молодой человек находил свое жилье не пригодным для жизни, поэтому пришлось смириться и перестать ежедневно вылизывать место своего обитания. Со временем он даже привык жить в бедламе, и его товарищи-музыканты, приходившие по делам или в гости, были вполне удовлетворены состоянием квартиры, так как и в их головах из мозгов было сложено нечто подобное — нагромождение лишнего, перевернутого вверх тормашками, прокуренного, сексуального и пьяного.

Елисей тоже считал себя музыкантом, немного композитором, слегка роковым вокалистом, но самым главным его достоинством было то, что он собрал в своей комнате музыкальный пульт, на котором можно было сводить вокал и звуковые дорожки. Молодой человек прилично зарабатывал, и за этим, за его талантом, к нему приходили даже именитые музыканты. В моменты творческого созидания, часто на самом пике вдохновения, в комнату вваливался дед Елисея и, широко расставив ноги, молча глядел на происходящее. Впрочем, рок-н-рольщики к таким явлениям привыкли, некоторые даже считали Андрея Семеныча талисманом, а потому не гнали. Только девицы, всегда новые и восторженные, пугались дедовских сатиновых трусов, в которых было много, и страшились пуза с горизонтальным шрамом под пупком, сан-

тиметров двадцать, как от кесарева сечения, только выше. У деда когда-то на фронте случился перитонит, и военврачи сделали огромную дыру в его утробе, чтобы вычистить гной. Может, оттого у Андрея Семеныча и был такой огромный живот — мышцы какие не так сшили...

Обычно Елисей работал ранним утром, пока дед дрех, да и телефонные звонки не отвлекали. Он просыпался и, не вставая с кровати, выкуривал пару сигарет, затем чистил зубы, съедал яичницу и заваривал себе кофе по-турецки, почти полулитровую чашку, из которой пил по чуть-чуть почти до полудня, пока не заканчивал какой-нибудь трек или сведение песни.

Летом 1982 года работы было совсем мало, зато ЖЭК впустил в подвал дома какую-то гоп-компанию госчеготомонтажа, и вследствие этого начался какой-то почти вселенский ремонт. Болгарки, отбойные молотки, крики рабочих, мат-перемат и все сопутствующее, что может отравить жизнь человеку. Жители первого этажа, все три подъезда, жаловались председателю Жориной, но она отстаивала арендаторов всей своей яркой эмоциональностью, а если народ не успокаивался — выталкивала посетителей из конторы внушительных размеров бюстом, приговаривая, что нельзя быть эгоистами, так как арендаторы обещали построить дому детскую площадку с хоккейной коробкой, и краше-

ные волосы ее, синие, как море, вздымались. Во всех этих передрягах ни Елисей, ни его дед участия не принимали: первый — потому что не верил в успех социалистического обустройства, а старый солдат просто не слышал самого ремонта, даже когда отбойный молоток пробил пол в их ванной и срубил керамический унитаз, нарушив не только построение отхожего места, но и профессиональную звукоизоляцию. Сантехнику арендаторы, конечно, заменили, а изоляцию восстанавливать отказались наотрез, шантажируя тем, что частное подпольное предпринимательство в Стране Советов незаконно, а потому в полу остались дыры, которые Елисей как-то подлатал, но не слишком умело.

Само собой, в таких условиях работать было невозможно и Елисей все чаще отлынивал от пульта и ложился на тахту читать детектив, напялив на голову наушники с каким-нибудь хардрокерским контентом.

Ранним утром, за месяц до своего дня рождения, Елисей привычно валялся после завтрака на кровати и слушал «Pink Floyd». Он погрузился в тематику альбома «The Wall», но на том месте, где дети поют, чтобы учитель валялся из школы на хрен, Елисей захотел глотнуть кофе. Вспомнив, что забыл чашку на пульте, он открыл глаза и, скинув наушники, хотел было дотянуться до нее, но... На чашке, на ее кромке, сидела небольшого размера мышь

и смотрела на него красноватыми глазками. Молодой человек замер и, в свою очередь, глядел на грызуна, на блестящую на солнце черную шкурку с белым пятном на шее. При этом он сделал вывод, что недостаточно хорошо закрыл дыры из подвала, вот и получил окончательную фазу антисанитарии. Еще он понимал, что дикая мышь с белым пятном — вернее, ее предки когда-то имели связь с благородными белыми сородичами из НИИ напротив, служившими на благо человечества в лаборатории.

Елисей хотел было громко крикнуть, чтобы напугать незваного гостя, но мышь вдруг опустила голову в чашку и глотнула кофе. Затем глянула на хозяина квартиры, оценивая, как тот отнесется к ее поступку.

Ну как он мог отнестись... Сначала подумал, что чашку придется выбросить, не хватало в квартире только бубонной чумы, но тут же понял, что никогда не слышал, чтобы мыши пили кофе. Пока он делал выводы, мышь еще раз сунулась в чашку, а напившись, спрыгнула на стол, уронила несколько черных рисинок на святая святых пульт и, не торопясь подбежав к краю, прыгнула с него на занавеску, в сборках которой исчезла.

Чашку Елисей пожалел и прокипятил, мышинный помет прибрал и решил по-взрослому наехать на председателя Жорину за то, что та в своей полнейшей некомпетентности развела в доме мышей.

Но здесь позвонили знакомые веселые девушки, попросившие напрокат пластинки с фирмой, за которые ему было положено всевозможное ублажение и плотские утехи. Забыв про Жорину и надвигающуюся пандемию, он немедленно отбыл в распоряжение прекрасной половины человечества и зависал с любительницами фирменной музыки до полуночи.

Следующее утро оповестило Елисея о своем наступлении наполненными радостью звуками отбойного молотка, поэтому он механически нащупал наушники и закрылся ими, дабы уберечь от порчи свои музыкальные уши. Сборник западных хитов успокоил сердце, он поднялся, почистил зубы, съел яичницу и, сварив пол-литра кофе, вдруг понял, как бороться с вандалами внизу — вернее, как их использовать. Идея была гениальной. Елисей решил записывать звуки ремонта, а потом с помощью самопального синтезатора зафигачить крутую композицию. Он тотчас отправился к пульта и начал работать. К полудню он положил на магнитофонную пленку все шумы и звуки, обработав их и записав. Получилось настолько нехило, что создатель сам забалдел от собственного гения и улегся на тахту, размышляя о новаторстве в современной музыке и его не последнем в ней месте.

Открыв глаза, он снова увидел устроившуюся на чашке мышь с белым пятном. Свесив хвост, нез-

ваная гостыя глядела на Елисея, а затем, уверившись в безопасности, ткнула носом в недопитый кофе, потом еще и еще раз. Сегодня мышь приветливо вильнула хвостом, спрыгнула с чашки и, так же не торопясь, роняя по пути рисинки, осмотрела и обнюхала все предметы на столе музыканта. Затем с достоинством ушла тем же путем по занавеске.

С этого момента мышь являлась к Елисею каждое утро, попивала его кофеек и все смотрела глазами-бусинками на молодого человека, будто сказать чего хотела. Вопрос убить или не убить постепенно утратил свой градус. Елисей привык к явлениям грызуна, назвав кофейную мышь Авдотьей, и если она не приходила в положенное время, даже несколько волновался. Кошки в городе не дремлют. Но Авдотья после пары дней отсутствия вновь появлялась, сама все больше привыкая к Елисею, не боялась залезать на чашку, даже когда музыкант сидел за пультом. Елисея удивлял их симбиоз, но он был совсем не против, так как Авдотья не скреблась ночами где-нибудь под шкафом, не точила зубы о провода бесценной аппаратуры, а просто по-приятельски заходила на утренний кофе. В свой день рождения молодой человек положил к чашке с кофе кусочек сыра, но Авдотья, понюхав его, даже попробовать лакомство не стала, а, прыгнув на занавеску, исчезла, как Игорь Кио, но как король иллюзий явилась через минуту

обратно, приведя за собой нескольких маленьких мышат.

Так вот оно что! — поразился Елисей. Она деток ко мне привела.

Мышки разобрали на крошки кусочек сыра, дождались, пока мать допьет кофе, и только затем всей семьей покинули гостеприимный дом. Пять дней Авдотья таскала к Елисею свое потомство, а он, в свою очередь, оставлял сыра побольше. А в воскресенье кофейная мышь вновь пришла одна и смотрела на хозяина квартиры с тоской в глазах. Конечно, Елисей так романтизировал Авдотью. А была тоска или нет — никому не ведомо. Он понял, что мышата выросли и она осталась одна.

Вскоре Елисей встретил девушку Марину, которая переехала к нему и любила молодого человека и его подружку мышь ровно год, а потом перешла в соседний кооператив артистов эстрады к эстонскому певцу, объяснив, что не может жить с человеком в помойке, где мыши бухают кофе и шляется почти голый дед с кеглей в трусах.

Елисей очень переживал уход Марины, так как любил ее сильно, даже немного болезненно. После ее ухода он почти не писал, и пульт покрылся толстым слоем пыли. Авдотья по-прежнему навещала его, пила кофе и раз в два месяца показывала своих новых детей... Однажды молодой человек, обесиленный тоской, заснул светлым днем, а проснулся



от чьих-то легких прикосновений. Открыв глаза, он увидел Авдотью, сидящую на его подбородке. Мышь подергивала крошечным носиком и щекотала кожу усами. Затем, осторожно ступая по человеческой плоти, она ушла, оставив на щетине отходы своей жизнедеятельности.

Вот кто мой настоящий друг, подумал Елисей, стряхивая с себя помет, вот кто со мной рядом в трудные минуты — простая русская мышь. А простой русской бабе понадобилось национальное разнообразие.

Молодой человек нестерпимо захотел, чтобы кофейная мышь жила в его комнате в качестве друга, как если бы это была собака. Соорудив ловушку, он следующим утром легко поймал Авдотью и посадил ее в трехлитровую банку. Насыпал горстку вермишели, нарезал кусочками сыр и бросил внутрь. Мышь металась по банке словно безумная, шарахаясь о прозрачные стенки, а Елисей гладил стекло с другой стороны, стараясь ее успокоить. Авдотья пыталась подпрыгивать, чтобы выскочить из неволи, но горловина банки находилась высоко, а мышь все прыгала и прыгала... Успокоится, решил Елисей, ушел в магазин за продуктами деду, а когда вернулся, то нашел банку пустой. Как удалось Авдотье выпрыгнуть из нее, осталось неизвестным.

Больше Авдотья к Елисею не приходила, как бы он ее ни просил простить его, подкладывая к пульту

разные вкусные приманки... А через месяц помер дед. Его хоронили под оркестр и с военными почестями, в черном костюме от «Москвашвей». Дед Андрей Семеныч Комаров был Героем Советского Союза, легендарным разведчиком, а потому в его честь военные стреляли над могилой. На память о деде внуку достались ордена и две пары сатиновых трусов.

Тоска накрыла Елисея полярной ночью, и он бы наверняка порезал себя, как часто делают музыканты и люди творческих профессий из-за тонкой организации души, но тут вернулась от эстонского певца Марина, объявив, что беременна от Елисея, а этот фашист, почти педераст, не захотел растить чужого ребенка. Впрочем, она уже на второй день проживания с прибалтом поняла, что душа рвется обратно к Елисею.

Дед умер, Марина вернулась, и Елисей к рождению ребенка сделал ремонт. Теперь в его доме было чисто и опрятно, как о том мечтал музыкант. Он чувствовал себя счастливым и редко вспоминал Авдотью. Родился мальчик, которого назвали в честь деда Андреем, рос он, как и все мальчишки того времени, пропадая на улице до полуночи, хамил понемногу полнеющей матери — в общем, был абсолютно нормальным пацаном.

Как-то Андрей с другом затопили школьный кинозал, находящийся в подвале, и неожиданно

для Елисея его сын взвалил всю вину на друга, а того вызвали с родителями на педсовет, грозили в лесной интернат определить. Казалось, сын не понимал, что сделал, и Елисей впервые за долгие годы вспомнил про кофейную мышь Авдотью с белым пятном на черной шерстке, про Авдотью, которую предал, отчего ему было не по себе до сих пор.

— Вон она, моя кофейная чашка! — показал Елисей сыну.

Елисею казалось, что сын понял мораль отцовского рассказа, и больше дурного за ним не замечалось. Он вырос и, окончив институт, завел свою семью, расположившуюся в трешке, которую отец, уже маститый композитор и аранжировщик, купил встык к собственной квартире. Получились пятикомнатные апартаменты.

У Елисея в прекрасно звукоизолированной комнате-студии давно стоял самый современный американский пульт, шестнадцатиканальный, с допоборудованием и баром, в котором имелось все — на любой вкус. Каждый день Елисей работал с первыми звездами страны, сводил для них треки, да и сам исполнял свои роковые баллады.

Одним весенним утром она вернулась с двенадцатью мышатами и забралась на старую елисевскую чашку. Авдотья не боялась поседевшего музыканта, она простила его и вновь ныряла в чашку головой, наслаждаясь кофеином.

Этого не может быть! — радовался Елисей Алексеевич. Мыши столько не живут, он даже залез в Википедию, исследуя вопрос. Всего пять лет?! Может, это Авдотьяна... Да нет, все в этой жизни бывает, даже мыши-долгожительницы. Следующим утром, когда она вновь пришла, оставив рисинки на альбоме короля отечественной музыки, Елисей попросил:

— Прости меня.

А потом он поделился с семьей сына радостью о чудесном возвращении мышкы Авдотьи.

— Ты же помнишь, — он повернулся к сыну, — я тебе когда-то о ней рассказывал. И представляешь — опять с мышатами...

Следующим утром Елисей встретился на телевидении с музыкальным продюсером Белоцерковским, перетер с ним один мощный проект, а когда подъезжал к своему дому, увидел возле подъезда мини-вэн, на борту которого красными буквами было написано «Мы справимся с ними за два часа» и стоял логотип с крысами, тараканами и жуками.

Дезинсекторы уже закончили свою работу и, собирая оборудование, успокаивали, что запах химикатов человеку не опасен, что он токсичен только для паразитов. А паразитов больше нет. В техническом ведре музыкант разглядел Авдотью с белым пятном на шерстке.

Елисей смотрел в глаза своему взрослому сыну-блондину, в его равнодушные глаза, понимая, что это вовсе не его сын, а отпрыск эстонского певца-пидора, что растолстевшая жена Марина тогда обманула его как мальчишку.

Войдя в комнату жены, он застал ее за подпиливанием длинных ногтей и сказал прямо в ухо, просто и буднично:

— Ты тварь!!! Жирная тварь!!!

## ДЕРЕВО

Двенадцатилетний Кеша прогуливал школу. Он никогда не делал этого в компании, предпочитая наслаждаться воздухом свободы в одиночку. Впрочем, пропускал занятия он не часто, а оттого его успеваемость была сносной и родители относились к его прогулам терпимо.

Каждому необходимо личное время, только зачастую мы понимаем это с возрастом. Чего не скажешь о Кеше.

Мальчик не особо дружил с одноклассниками, но и не манкировал ими, всегда поддерживал разговорчики, улыбался, как и все дети, показывая два передних зуба, длинных, как у кролика. Кешу и прозвали Кроликом. В школе похожих на его идеал товарищей не имелось, вот он и черпал недостающие мироощущения в прогулах.

Он не шлялся по улицам аж бы либо. Мальчик проводил время в Планетарии, смотрел в кино трофейные и советские фильмы про шпионов, ел мороженое эскимо и в вафельном стаканчике с розочкой, в меру мечтал и в целом наслаждался жизнью. Он любил книги, которые проглатывал, открывая в них необъятные миры,

причудливость человеческих характеров и жизненных коллизий.

Для спокойного погружения в приключенческую литературу Кеша приходил в Ботанический сад, отыскивал пустую скамейку и в тени экзотических деревьев погружался в иные измерения, где было столько всего, сколько не могло быть в жизни обычного московского мальчишки начала шестидесятых.

В один из прогулов, после посещения цирка шапито, Кеша как обычно пришел в Ботанический сад и нашел пустую скамейку, затененную раскидистыми ветвями могучего дерева.

— О! — произнес Кеша, задрав голову, осматривая незнакомое растение с восхищением. До этого он никогда не интересовался названиями разнообразных представителей флоры, но здесь, придавленный мощью исполина, поинтересовался, что рассказывает табличка о таком феномене... Кеша узнал, что название дерева — секвойя, что родом оно из Америки, с Тихоокеанского побережья, может вырасти до 120 метров и прожить целых две тысячи лет. — О! — воскликнул Кеша. Он до сего момента и не предполагал, что живое может просуществовать такое немыслимое количество времени. Только черепахи да попугаи, но... Лишь в фантастических романах жили вечные герои и древние волшебные леса... Еще мальчик прочитал, что этот

драгоценный экземпляр Ботаническому саду подарил какой-то Гван Хон Чоу и посадили его 12 сентября 1952 года. — Не зря! — прошептал Кеша, так как в этот день и год он сам был произведен на этот свет. Это знак, подумал мальчик! Таких совпадений не бывает. Он перешагнул через ограничительную цепочку и дотронулся до ствола дерева. Приложил ладонь — и почудилось ему, что гигант завибрировал, нагрелся и вмиг переселил в него немного своей силы и вечности. — Ой! — Кеша затрясся от возбуждения, но здесь его прогнали старушки-смотрительницы, так что в этот день ему не удалось почитать, да и не могло быть о том речи после такого чрезвычайного впечатления.

Вернувшись домой, он рассказал родителям, что будет жить две тысячи лет, получив ответ, что мама с папой будут только рады. А в школе смеялись...

— Кролик!

А ему было пофиг.

Целых две недели каждый день после уроков Кеша приходил к редкому дереву и, сидя на лавочке, глядел на секвойю. Он ожидал от растения еще каких-то чудес, но ничего не происходило, и Кеша подумал, что и одно чудо хорошо.

Наступила зима, но мальчишка продолжал приходить к дереву, которое про себя называл Чоу. Раз в неделю, Кеша навещал уникальное растение



и читал свои книжки, поглядывая на него. Старушки-смотрительницы привыкли к мальчику и давали ему поддерживать поливочный шланг. Дереву было необходимо много воды, так как оно было гостем на этом полушарии и, вполне вероятно, чувствовало себя неуютно, а потому Кеша мог простоять два часа, поливая корни секвойи.

Нельзя сказать, что мальчик все время был поглощен мыслями о дереве, совсем нет, он продолжал учиться, играл с приклатненными в карты с изображением голых девок, а еще ему нравилась пятиклассница Нина из параллельного класса, которую он как-то привел в Ботанический сад, чтобы показать Чоу. К его удивлению, хорошенькая Нина через пару минут потеряла интерес к гиганту и попросила перейти к экзотическим цветам, над которыми попыталась взять Кешу на «слабо»: может он сорвать хотя бы один и подарить ей? Кеша ответил, что фиг-ли рвать цветы в саду, хотя можно и рискнуть, если Нинка покажет ему... Но он осекся, переменив желание, вдруг вспомнив, что пора срочно бежать домой: мол, забыл, что сегодня приезжает дед Антон. Выудив из кармана пяточок, протянул Нине:

— На метро.

— А что показать? — крикнула девочка вдогонку.

Летом Кеша отправился в пионерский лагерь и в Москву вернулся лишь к концу августа. Утром,

в час открытия Ботанического сада, он был тут как тут, нетерпеливо подталкивая очередь. Мальчик собирался похлопать Чоу по стволу, но увидел картину, переменившую его жизнь.

Он смотрел, как секвойя, ее могучий ствол теперь лежал на траве, а над ним трудились несколько мужиков с пилами. Вжик-вжик!..

— Нет!!! — закричал Кеша! — Чоууу!!! — Его сердце выскакивало из груди от злости. — Гады, что вы делаете! — ему казалось, что пилят по живому. — Фашисты!

Здесь подоспели смотрительницы и попытались успокоить разбушевавшегося мальчика. Самая благообразная старушка, вытащив из кармашка передника надушенный носовой платочек, объяснила ему:

— Не прижилось твое дерево здесь. Так бывает.

— Но как же так! Оно же две тысячи лет должно жить! Должно, здесь написано!

— Никто не знает, кто и сколько проживет. — Пожилая дама погладила Кешу по голове и промокнула морщинистое личико платочком. — Так случается...

Каждый ребенок рано или поздно просыпается однажды ночью, и все его существо охватывает ужас от неожиданного понимания, что он смертен. Наверное, это самая страшная ночь в человеческой

жизни. Но это понимание было давно принято Кешей как данность, а вот досрочная смерть в его планы не входила, просто возмущала. Если секвойя, которой было предназначено жить две тысячи лет, умерла, то...

— Блин! — выругался мальчик.

«Я могу умереть сегодня!» — понял Кеша и пощупал пульс на запястье.

Родной дом был рядом, и у Кеша были хорошие любящие родители.

Мама пыталась обнять сына, но он вырывался из рук, восклицая:

— Как же так?! Недосмотрели!.. Две тысячи лет!!! Так вы и за мной недосмотрите!

— Досмотрим. Все в этой жизни когда-нибудь умрут. И мы с папой, и птицы, собаки и черепахи с попугаями — все. Так устроено...

— Знаю все! — почти прокричал Кеша. — Я книги читаю! Двадцатый век! Гагарин! Анжела Дэвис!

— Так положено. Так было и будет всегда...

— Но секвойя!!!

Он еще долго бесновался. Папа курил возле окна, почти не слушая воплей сына — он наутро уезжал с геологической партией и внутренне готовился... А потом мальчик наконец заснул от усталости, но в ночи в мозгу сверкнуло страшное предположение. Он выскочил из постели:

— А дед?! Дед Антон?! Его не было в воскресенье!.. Он умер?!.. Он даже еще не пенсионер! Он что, как секвойя?! За ним тоже недосмотрели?!

— Что ты, Иннокентий, — поднялась с кровати мать. — Дедушка был на даче — собирал яблоки в саду. В следующие выходные мы будем есть яблочный пирог... А досматривает за ним бабушка...

Кеша вырос, окончил университет и по обстоятельствам эмигрировал в Америку, по воле судеб поселившись со своей обретенной в эмиграции семьей рядом с реликтовым лесом, с секвойями, где некоторым деревьям было по пять тысяч лет. Но он всю свою жизнь рассказывал — сначала своим американским детям, потом внукам, наполовину китайцам, а затем первому правнуку, раскосому афроамериканцу — про московское могучее дерево Чоу, которое умерло до срока, так как... Здесь он всегда переходил на русский.

— Потому что, сука, никто не знает, близок ли, далек ли твоей конец! Даже китайцы и негры!..

## ЧУКОВСКИЙ

Он явился к врачу, как и договорились, ровно к одиннадцати, но пришлось несколько подождать, так как предыдущий пациент застрял надолго.

С доктором Глебовым Альтман познакомился четыре года назад на презентации многопрофильной коммерческой клиники, в которой Глебов, помимо того что был ведущим специалистом-андрологом, еще и должность генерального директора занимал. Они понравились друг другу, и в дальнейшем Альтман по всем медицинским вопросам советовался только с Глебовым, а если вопросы и проблемы выходили за рамки компетентности и специализации, врач всегда определял пациента к проверенному профильному специалисту. За такой персонифицированный подход владелец сети продуктовых магазинов Альтман хорошо платил и помогал Глебову с административными вопросами, если они возникали.

То, что он сидел в приемной и ждал, уже само по себе было непривычным, но когда ожидание превысило сорок минут, бизнесмен стал немного раздражаться и велел охраннику принести кофе из автомата, но здесь дверь во врачебный кабинет

приоткрылась, и Альтман услышал голос Глебова, который с некоторым заискиванием, с благодарностями и расшаркиваниями прощался с задержавшимся пациентом.

— Спасибо вам преогромное, Корней Иванович! Вы всегда почетный наш посетитель! — растекался Глебов, медленно сопровождая визитера из кабинета. — Жду вас на следующей неделе...

В коридор вышел коренастый мужчина с залысинами и в золотых очках с очень толстыми стеклами, вросших в переносицу и делающих глаза владельца выпученными, как у некоторых пород золотых рыбок.

Альтман знал этого человека. Он был знаком с ним целых шесть часов десять лет назад, но в тот летний жаркий день их общение привело к смене партнера Альтмана и денежной компенсации, если сказать сухо и официально.

— Проходите, Иосиф Михайлович! — позвал Глебов. — И простите за долгое ожидание.

— Важный клиент? — поинтересовался бизнесмен, закрывая за собой дверь.

— Вы знаете, кто это? — На лице доктора было такое выражение, будто он с ангелом общался, и, не дожидаясь ответа, он пояснил: — На нем держится все наше детское отделение! Он оснастил его от А до Я самым современным оборудованием, и вообще прекраснейший чело-

век, вращающийся в очень высоких кругах. Так вы знаете, кто это?

— Да, — ответил Альтман. — Это Корней Иванович. Руководитель одной из самых жестоких ОПГ в стране.

— Не может быть! — опешил Глебов, но сразу улыбнулся: — Вы что-то пугаете. Это кандидат технических наук, изобретатель и бизнесмен. А самое главное — благотворитель! Скольких детей он спас от неминуемой смерти, и вообще — если бы не он...

— Знаете, какое у него прозвище? — спросил Альтман и сам ответил: — Бармалей!

Глебов рассмеялся:

— Он бегает по Африке и кушает детей, гадкий, нехороший, жадный Бармалей! Какая-то нестрашная кличка в нашем взрослом мире. И почему Бармалей?

— И у бандитов чувство юмора есть. Не догадываетесь почему? — Врач пожал плечами. — Корней Иванович, — напомнил Альтман. — Нет?.. Имя и отчество Чуковского, автора стихов!

— Ааааа! — доехал Глебов...

Двенадцать лет назад Альтман приобрел на пару с новым партнером Аликом, с которым до этого восемь лет играл в теннис, и казалось, хорошо знал его по-человечески, несколько помещений, и они наладили в них сеть недорогих продовольственных супермаркетов. В проект были вложены

все альтмановские деньги, и надо сказать — все получалось. Магазины работали 24 часа и приносили привычную выручку наличными деньгами, которые вкладывались в новые магазины, и на жизнь в достатке хватало с избытком. Основным условием партнерства было то, что бизнесом управляет лишь один партнер, он имеет решающее слово, но если в течение шести месяцев выручка магазинов будет меньше оговоренной в контракте, то управление, по заявлению второго партнера, переходит к нему, а если и он недобирает, то вновь происходит перестановка. Всем такое решение казалось эффективным.

Конечно такой момент наступил, партнер по теннису и бизнесу Алик недобирал в течение года определенной прибыли, причем существенно, и Альтман заявил о замещении всей управляющей компании своей собственной. Но... Партнер, с которым Альтман обедал каждый день, Алик, с которым они «чистились» в Марбелье, с семьей которого отдыхала его семья, вдруг наотрез отказался передавать управление сетью и при этом жестко заявил:

— Не согласен. Давай разбираться.

Слово «разбираться» в то время было понятным, этот термин не предполагал юридических и судебных решений, а подразумевал силовое противостояние. Альтман был обескуражен неожидан-



ной трансформацией Алика в гондона, но за первую половину девяностых научился держать удар:

— Предлагай.

— Поскольку у нас одна служба безопасности, то предлагаю ее распустить и разбираться с помощью своих старых связей.

— Когда?

— Чего откладывать, Йос, давай в воскресенье, в час дня в твоём ресторане. Успеешь подготовиться?

— Успею...

— Против места нет возражений?

— Сойдет.

— Чья сторона возьмет, тот и получает все, весь бизнес. Согласен?

На такие вопросы не отвечают, а потому Альтман, не подав товарищу руки, покинул офис и стал готовиться к войне.

Основной бизнес-чертой Иосифа Михайловича было никогда никому — даже жене Вере, с которой они к тому времени были вместе двенадцать лет и родили близнецов, мальчика и девочку, — не открывать подробностей происходящего в профессиональной сфере, чтобы не волновать и не давать информацию, которая может нанести семье вред. Когда Вера настаивала на полной открытости, в первые годы их совместной жизни, Альтман уверял жену, что его душа открыта ей всегда, она

нараспашку, но бизнес, взаимоотношения с партнерами и властью не будут сферами для общения с ней никогда. Она настаивала, даже истерила, но он всегда резко осаживал супругу, когда та лезла в его епархию.

Ни партнер Алик, ни жена Вера не знали, что еврей Альтман на заре туманной юности чуть было не окончил школу милиции, но, преданный товарищем по общаге Костей Гавриловым, наступавшим руководству о хранении Альтманом сионистской литературы, был отчислен за два месяца до лейтенантских погон. Спасибо, что не заехал на тюремный дворик по антисоветской статье, так как школе милиции такой скандал был ни к чему, министр мог полностью сменить руководство, и происшествие спустили на тормозах.

Зато Альтман Иосиф Михайлович вдруг обнаружил интерес к экономике и легко поступил в Плешку — Плехановский институт, который с отличием окончил. А Перестройка идет уже полным ходом. Несостоявшийся опер знал, что делать. Бизнесов создал много, а наездов терпел и отбивал еще больше.

Отражали бандитские и блатные налеты друзья по ментовской школе, некоторые из них добрались до МУРа и в молодые годы возглавили отделы: один, майор Геша Крамской, руководил противодействиями ОПГ, другой, Леня Змейкин, тоже майор, но на

полковничьей должности, занимался бродягами-синими, то есть ворами, которые наводнили столицу, где было столько миллиардов зелени в слабых руках, что было грех не воспользоваться анархией в государстве. В свою очередь, Альтман никогда не забывал расплачиваться с однокашниками за защиту, когда нужно — деньгами, услугами, медициной, но когда по беспределу на него наезжали, ментовские платы не брали принципиально, считая, что вот именно это их предназначение, в таких случаях работая за погоны и совесть.

Алик пригласил друзей в небольшой трактир в арбатских переулках, где вкусно и просто готовили. Крутые и на понтах в него не залетали, так что можно было без суеты побеседовать по теме. Сначала много ели и пили, вспоминали ментовские ясли, а потом, на втором литре, Леня Змейкин рассказал, что предавший его Гаврилов через пару лет оперативной работы поменял ментовскую масть на бандитскую, куролесил по Москве так, что кровь фонтанами лилась по улицам.

— Знаешь, кто его списал? — спросил Леня.

Альтман пожал плечами.

— Я, — сказал Геша Крамской. — Выстрелил ему в ухо.

— Как ни крути, — сделал вывод бизнесмен, — а за образование и бабки я все же обязан, выходит, Гаврилову. За него!

Выпили не чокаясь и перешли к делу.

На десятой минуте всем было все понятно, товарищи соскочили с темы на баб и жен и выпили еще литр. Это были здоровые пацаны, умеющие держать удар, да и Альтман пить умел, всегда оставляя в мозгу островок трезвости, который помогал ему оценивать ситуацию вокруг.

— Еврей, а пьет, как русский! — похвалил Змейкин.

— Вот опять! — засмеялся Альтман. — Я же вам объяснял, что евреи если пьют, то делают это лучше. Видел абрамовичей и рабиновичей в канаве? Ты знаешь хоть одного еврея-алкоголика?

— Знаю, — хрустнул сухариком из бородинского хлеба, обмакнутым в подсолнечное масло, Змейкин. — Знаю! Тебя!

Друзья заржали, а Альтман приговаривал с еврейским акцентом:

— Да-да, конечно, кто из вас дойдет до тачки не пошатнувшись? Конечно, только Альтман!

На следующий день к бизнесмену были приставлены два молодых лейтенанта, которые должны были представлять его интересы. Крамской уверил, что ребята компетентные, дело знают на все сто:

— А мы поможем и подстрахуем!

Встретились, как и договаривались, в час возле ресторана. Стояла невыносимая июльская жара, и партнер предложил дожидаться приезда «раз-

борщиков» внутри помещения, под кондиционерами. Альтман кивнул на двух молодых, похожих на студентов, людей с портфелями, определив, что его вот они, на месте — да-да, те, кто разбираться будет, — указал Алику занять один из стульев за специально вынесенным на жару столиком и подождать опаздывающих.

— А я пока пойду водички попью! С собой не приглашаю! У нас кондиционер — надует!

Внутри посетителей не было, лишь дежуривший сержант милиции сидел на барном стуле возле стойки и трясся как в лихорадке. Кобура с «Макаровым» как-то жалко торчала из-под пропотевшей куртки. Подрабатывающего на охране милиционера директор заведения предупредила о том, что сегодня могут быть беспорядки.

— Какие беспорядки?

— Да не волнуйся ты так! Ну приедут, пушками посветят, покачают по понятиям...

Ирена Саронян работала с Альтманом столько лет, что ко всему привыкла и все повидала. А вот сержант Витя в разборках не участвовал, молод был, а потому напоминал трясущийся шейкер в руках бармена.

— Выпей коньяка! — приказал Альтман, и бармен плеснул сержанту в бокал.

Минут через десять бизнесмен в камеры увидел прибывающие к ресторану автомобили, из которых

выходили довольно взрослые люди определенного вида, с характерными физиогномическими особенностями, выдающимися в них бандитов. Как говорила в начале девяностых директор Саронян — бандерлоги... Машины все подъезжали и подъезжали, и Альтман задался вопросом: сколько же их — на двух его лейтенантов?

Потом уже подсчитали, что бандитов было около сотни.

Альтман вышел к толпе, от которой отделился коренастый человек с мощными покатыми плечами, в красных брюках и очках, вросших в переносицу. Шел, отбрасывая мыски лаковых ботинок в стороны, и рыскал выпученными глазками по сторонам.

— Ты, что ли, Жид?

Двое молодых людей с портфелями двинулись навстречу главному братку.

— С нами разговаривайте! — сказал один из них. — Мы уполномочены.

Второй обернулся и попросил Альтмана вернуться в заведение, что бизнесмен незамедлительно сделал.

Он вернулся к камерам и наблюдал, как усадили за стол Алика, как очкастый определил переговорщиков в помощь, а сам направился в сторону ресторана.

— К вам можно? — поинтересовался лидер.

— А вы кто? — бесстрашно спросила директор Саронян. — У нас закрыто!

— Я? — Вошедший улыбнулся, подергивая левой ноздрей. — Зови меня, деточка, Корнеем Ивановичем... — А потом развел руками и признался как покаялся: — Я Бармалей!

Альтман увидел, как один из молодых людей открыл портфель и показал папку с документами. Пока все шло по сценарию, и Альтман снова вернулся в зал.

Бармалей ходил между столами, руки в карманах, и казалось, на Альтмана не обратил никакого внимания. Но, поравнявшись, процедил:

— Тебя, Жид, замочим сегодня! — И пошел к стойке, где успокоил директоршу, что ее трогать не будут, телки не при делах, «но вот ментенка мы закопаем точно, а мамке его фуражку пришлем на память», и, обернувшись к Альтману, добавил: — Твоих близнецов расфасуем по спичечным коробкам. Это кропотливая, но приносящая удовлетворение работа.

По брюкам сержанта Вити потекло, а лицо стало белым и мертвым.

— Пойдем, Жид, на воздух! — скривился Бармалей, продолжая подергивать ноздрей. — Менты нынче как пионэры! — И хмыкнул.

Они вышли в июльскую жару, на которой без дела активно потела немолодая братва.

— Подписывал?! — наседали молодой лейтенант на Алика. — Я тебя спрашиваю: бумаги ты подписывал?

— С коммерсов спросу нет! — заявил переговорщик партнера, облизывая пересохшую заячью губу.

— А с кого спрашивать?! С тебя, косорылый?!

— С меня! — обозначился Корней Иванович.

Лейтенанты обернулись и заулыбались навстречу Бармалею, как будто брата родного повстречали:

— С тебя и спросим, сказочник!

Не успело лицо тезки детского поэта побагроветь от гнева, как с двух сторон улицы на огромной скорости выкатились два мини-вэна цвета хаки, без окон, тяжелые их двери разъехались, и из салонов на улицу посыпались маленькие солдатики с крошечными, как игрушечными, автоматами, в шлемах-касках защитной раскраски... Через три минуты вся сотня бандитов лежала мордами в окровавленный асфальт, особенно старательно выкручивали руку Бармалею, который, надо отдать ему должное, не проронил ни звука, лишь глаза выпучивались из орбит, и даже когда плечо вышло из сустава, Корней Иванович не охнул. Вот партнер Алик визжал в голос и при этом грозил, что всем пиз...ц!..

— Всем, всем пиз...ц!!!

Тут ему в нос въехали по-взрослому, и он отключился.



Кто-то борзо заявил, что является внештатным сотрудником милиции, и за это со словами «Ах, ты еще и мент!» спецназовец плотно приложил кастетом ему по затылку. Досталось и Альтману. В горячке один солдатик задел его прикладом, но окриком одного из лейтенантов был вовремя остановлен. Подъехали спецавтобусы, и всю сотню бандюков быстро погрузили в салоны.

На следующий день, ближе к обеду, на квартире у Альтмана появился Геша Крамской и отчитался о самом главном:

— Короче, бизнес твой!

— А чего, как было-то? — поинтересовался довольный Альтман.

— Да просто все. Оставили самых борзых и главных, человек десять, а остальных разогнали на хер.

— А Алик?

— Очень сильно отмудохали твоего Алика! Знаешь, кто за него впрягался?

— Кто?

— Какой-то хмырь из Администрации Президента. Орал, чтобы немедленно отпустили влиятельного бизнесмена, общественного, бля, деятеля! — Геша хохотнул. — А Змейкин ему так вопросик на засыпку: «За педофила вступаетесь? Так-так-так, товарищ из Администрации...» А тот как вопрос услышал — сразу обосрался и говорит: я, мол, типа, не туда попал! Типа, в прачечную! Ха-ха-ха!

— А чего, Алик правда педофил?

— Ну, есть на него компроматик!

— А на меня?

— Потом генерал эмвэдэшный звонил, — продолжил Крамской будто не услышал вопроса. — И грохотал командным басом: мол, какой такой х...й арестовал сотрудника милиции. А Змейкин и ему вопросик: «Вы, товарищу генерал, всегда принимаете во внештатники граждан с тремя судимостями? Или по случаю?..» Здесь и этот поплыл, когда понял, что сам подставился. Предложил нулевой вариант, мы согласились — до поры до времени. Генерал еще пригодится!

— А Чуковский?

— Бармалей? Вот у него черепушка крепкая. Били башкой о стену — даже сознания не потерял. Короче, он не безмозглый, как все остальные, сказал, что Бонивура строить из себя не будет, готов отъехать от предьяв на раз, но с условием, чтобы авторитет его перед пацанами мы не уронили... Мы пообещали и отпустили всех, кроме твоего Алика. Кстати, тебе повезло, что вся братва пожилая, а оттого сговорчивая. У всех семьи, все обустроились по жизни. Был бы молодец — не знаю, как бы закончилось!

— Так на этом Бармалее крови больше, чем на бойне!

— А на тебе?

— На мне?!

— Из этих сегодняшних брателл литров двадцать выпустили — а остальные случаи, когда ты обращаешься?.. На всех кровь. Твой Алик до сих пор кровью харкает. Может, легкое выплюнет...

Альтман разлил по стаканам вискарь, и они, чокнувшись, молча и быстро выпили.

— Чего дальше? — поинтересовался бизнесмен.

— Ну, подержим этого любителя малолетних еще пару дней, почки ему подопустим, ручку сломаем правую, чтобы левой дрочил, и все. В пятницу нотариус — восемьдесят процентов твои, двадцать наши. И живи, дорогой, дальше!..

Следующие десять лет успокоили Россию, Альтман вырос в серьезного бизнесмена и попал в русский «Форбс». Геша Крамской и Змейкин ушли из ментов и жили на Кипре на те самые двадцать процентов.

Как-то ближе к Новому году Альтману позвонил доктор Глебов. Сам он это делал крайне редко.

— Иосиф Михайлович! — чувствовалось, что ему неловко. — Помните, вы мне рассказывали о Корнее Ивановиче?.. Бармалее?

— Помню! А что, какие-то проблемы?

— Нет-нет! — заверил Глебов. — Никаких. Сам Корней Иванович несколько лет назад умер скоропостижно... Сердце.

— Не знал, — ответил Альтман.

— Тут такое дело, — мялся Глебов. — В общем, семью его после смерти обобрали до нитки.

— И кто же?

— Сами знаете, как сейчас происходит. Поскольку выковыряли не только все в России, но и зарубежные активы высосали, то мне кажется, что это погоны — может, бывшие коллеги Корнея Ивановича...

— Ну и поделом ему!

— Конечно-конечно!.. Вы извините, что я вас беспокою... Как сказать-то... — мямлил доктор.

— Прямо.

— Прямо... Хорошо... Пусть будет прямо. Дело в том, что у Бармалея, то есть у Корнея Ивановича, незадолго до смерти сын родился...

— ?

— Мальчишечка сейчас у меня в отделении. Славный такой, с белыми ресничками. Семь лет... — Глебов тяжело вздохнул. — У него острый лейкоз и много чего попутного! Нам здесь его не спасти, через пару дней умрет — жалко. Но вот в Мюнхене есть клиника, которая дает девяносто процентов на успех. А как я сказал, финансы Корнея Ивановича... Мать жаль, с ума сходит, лет на тридцать постарела в одночасье... А у вас ведь фонд детский...

— Вот ведь, блядь, как бывает! — выругался от неожиданного поворота Альтман.

— Что вы говорите?

— Да ничего, решим вопрос! — И повесил трубку. Такого отборного мата, да еще в течение десяти минут, секретарши еще никогда не слышали от Иосифа Михайловича. — Ну это, бля, пиз...ц какой-то!.. Викторина ...бнутых!!!

Еще через двадцать минут тишины Альтман позвонил помощнику и распорядился готовить наутро медицинский самолет в Мюнхен.

## ОДНОКУРСНИЦА

Очнулся Евгений Евгенич — и не понял, когда и где проснулся. То ли ночь, то ли день, или он в могиле уже. Так ему было плохо, так нутро крутило, что подумал: смерть лютая подбирается. Либо с инсультом придет, либо сердце разорвется.

Так пили вчера, припомнилось, что в ресторане иностранцы аплодировали. Водка текла в утробы не стаканами — рекой Волгой, смешиваясь с пивом, с килограммами поглощенной еды.

Жрали и пили в русском ресторане, самом дорогом в столице: казалось, разнесут пятидесятилетние мужики кабак по бревнам, в данном случае по кирпичам. Задирали официантов, хостесу в нос залепили, зато пачку денег бросили на откуп, метрдотель остался доволен. Сначала пили за дружбу, как водится, затем — за любимых женщин и жен, за детей, потом по второму кругу понеслось, а на третьем бухали уже без тостов, только жрали без оглядки, ржали без остановки и хрюкали свинским образом. В ночи запели «Владимирский централ», полируя выпитое джином и коньяком, хотя сидельцем никто из компании не был, затем возжелали телок, а когда те приехали, юные и сладкие, сил оставалось только на обжимание при входе в ресторан... Но...

Он проснулся и вспомнил страшное: вчера он, кутила и бонвиван, бравый Евгенич, как друзья его называли, переспал с пятидесятитрехлетней женщиной. От осознания произошедшего ему захотелось немедленной смерти, он даже потянулся к прикроватной тумбочке, как будто в ней лежал пистолет, но нащупал лишь таблетки, понижающие давление.

— Ай! — в голос испугалась его душа. — Ой! — Она кричала, что если уж он дошел до ТАКОГО, до пожилых женщин, то следующим шагом, то следующим... Следующего шага Евгений Евгенич даже сфантазировать не мог, как ни напрягался, а потом счел произошедшее трамплином в старость и следом за ней — обрывом в смерть. Сочная слеза стекла по щеке. Не вставая с истерзанной постели, он позвонил домработнице и умирающим голосом попросил растворить алкозельцер в капустном расоле.

Евгений Евгенич неизменно пил в пятницу, до обморока, до полного отключения мозга — впрочем, как и вся страна, — а после, в выходные, болел отчаянно, с посталкогольной депрессией такой силы, что почти до петли дело доходило.

Говоря объективно, Евгений Евгеньевич был вполне себе успешным существом — как он сам себя называл: мое существо — и занимался антикварной деятельностью, в основном картинами, коллекционируя их и перепродавая некоторые экземпляры

втридорога нуждающимся в предметах культуры и искусства, коих имелось на Москве великое множество. К сорока годам искусствовед выстроил дом в элитном Подмосковье, посадил сад, родил и вырастил сына. Его миссия перед Богом и Отечеством была выполнена, а далее он проживал без всяких мечтаний и громких целей. К пятидесятилетнему юбилею дом превратился в изысканный музей, с изумительными интерьерами, среди которых и цвел Евгений Евгенич в полном осознанном одиночестве, как цветок замиокулькас, если не считать многочисленной челяди, обслуживающей его надобности... Он давно развелся, отправил сына в Кембридж и принципиально не хотел новых отношений, боясь, что они могут причинить сильную боль, а в пятьдесят от несчастной любви можно было и гаги отбросить. Потому пользовался платными девочками возрастом до двадцати двух. Не любил барин опытных.

Когда юные безмозглые нимфы заезжали к нему, первое, что произносил бонвиван, — великие строки нашего всего: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». В момент наивысшего декламационного пафоса полы его шелкового халата с вышитыми павлинами распахивались и открывали девичьим взорам почти молодое тело, с небольшим лишком на животе, крепкими ляжками, в белых трусах от Версаче, в которых еще было, хоть и меньше, чем в сорок... Ох, как он был согласен с Пушкиным!..



К пятидесяти пяти Евгений Евгенич сформировал небольшой пул постоянных девиц, которых вызывал по желанию. Он любил пользоваться Юлечку, двадцатилетку, беленькую, светлоглазую, все свое, со слегка тяжелой жопкой, к которой барин любил прикладываться розовой от природного здоровья щекой и сопеть от сладострастия и сытости.

В первую их встречу, после окончания сексуальной процедуры, Евгений Евгенич назвал Юленьку проституткой. Девушка расстроилась и почти расплакалась.

— Я не проститутка, — обиженно промямлила русская красавица, глотая слезы.

— А кто ты? — уточнял хозяин дома. — Ты Ожегова открывала или Даля? Смотрела?

— У меня мама любила артиста Даля. А я смотрю только иностранное кино...

— Это составители словарей! Великие люди! Совсем вас не учат в институтах! Так вот, у них там черным по белому написано, что женщина, продающая свое тело за деньги, — проститутка!

— Ну тебя! — совсем обижалась Юленька. — Не тонкий ты, Евгенич, человек! Можно же найти какое-нибудь другое слово...

— Ой, какое же? — обрадовался чему-то опытный безобразник.

— Ну как-нибудь... Ну что это, типа, материальная помощь студентке или...

— Придумал! — тотчас провозгласил Евгений. — Плачу тебе за пользование твоим телом стипендию. Повышенную!

— Здорово! — просияла Юленька и, встав на колени, хотела было ловко стянуть с любовника трусы.

— Стипендиатка! Буду называть тебя Стипендиаткой!

Девушка добралась до содержимого Версаче, и Евгений Евгений запыхтел от удовольствия...

Второй по частоте вызовов была девушка Айсылу, татарка с матовой загорелой кожей, огромными глазами, черными, как сажа в камине, с крошечными, как у персика, светлыми волосками по всему телу и самой плоской среди женщин мира грудью.

Ой, как он это любил! Когда Айсылу приближалась к острову Нирвана, персиковые волоски поднимались по всему телу и щелкали электричеством, а мальчишеские соски становились твердыми, как кедровые орешки.

Айсылу все и всегда устраивало, можно было даже сказать, что татарке все в жизни ровно и пофиг. На слово «проститутка» не обращала внимания как на иностранное. Секс она принимала и радовалась, что за него солидные мужчины еще и деньгами делятся. Девуца выполняла любые просьбы и не ныла, как многие другие, что Евгений во время орального секса опять заснул и ей пришлось шесть часов неумолимо трудиться над часовым его сновидений так, что губы одеревенели...

Третьей по значимости для Евгенича являлась бывшая эстонская баскетболистка с нежным именем Имби, потому антиквар называл ее в лицо Бемби, а про себя Жирафой. Девушка была выше любовника на двадцать восемь сантиметров, но пропорции ее тела были божественно идеальны. Уж ценитель изящных искусств в этом толк знал и разумение имел. Бемби в силу ее физических кондиций было нужно больше, чем остальным девицам, согласно ее росту и, соответственно, объемам. Как тяжелый товарный поезд она медленно добиралась до конечной станции, а трубный глас сообщал о долгожданном прибытии. С Имби Евгений проверял себя — может или не может... Впрочем, в последнее время он редко вызывал эстонского олененка-жирафу...

Заливши утробу рассолом, Евгений принял внутрь сто грамм водочки и стакан гранатового сока, смешанного пополам с лимонным. Потом он трясся под горячим душем и страдал. Физическое его страдание ни в какие сравнения не шло с эмоциональными муками, умертвляющими его психику. В мозгу орало пожарной тревогой — я вы...бал пожилую женщину! Почти пенсионерку!.. О боже! Как сие мрачное, адовое могло произойти с ним, еще молодым человеком, чья жизнь днями должна быть наполнена радости бытия, ночами — пусть не самой бурной, но страсти, застольным счастьем с друзьями и всем-всем, чего он был лишен в совет-

ском детстве!.. А здесь — однокурсница Вронская!.. Мама моя родная! Откуда же вылезла старая?!

Дурной привычкой Евгенича было трезвонить после пьянки в ночи всем, кого его глаз выхватывал из записной книжки. Он страстно желал общения: переполненный алкогольными эндорфинами, набирал первой жене, с которой развелся больше тридцати лет назад, и тер с ней неизвестно о чем, звонил знакомым министрам, врагам, друзьям по пионерскому лагерю, умершим людям — и говорил со всеми, даже с последними, долго и неутомимо, но о чем говорил, никогда не помнил. Лишь похмельным мучительным утром, просматривая перечень ночных звонков, он с замиранием сердца, а потом с отчаянием узнавал, с кем общался, находясь на автопилоте... Министр Зырин — 10 сек. О нет!!! 10 секунд — значит, тот взял трубку и послал его в жопу! Или сам Евгенич послал министра?! Господи, Лайла, проститутка из молодости: сорок минут трепежа, а у нее уже в перестроечные годы сиськи висели как уши спаниеля, и вообще — откуда у него ее номер?! А полчаса с Зябликовым, который помер еще в школе оттого, что полкило соли съел на спор! Во всем виноваты гаджеты! Все дурное — происки компьютерного времени, ничего нельзя стереть, ничего не дадут забыть яблочные говноеды, засасывая всю инфу в эти совсем не райские цифровые облака.

Водка, смешавшись с другими жидкостями, сделала свое дело. Евгенич немного успокоился

и выпил кофе. Полистал газету — он любил бумажные, по старинке, и съел омлет. Вдруг заработала память, потихоньку-полегоньку, проявляясь как изображение на фотокарточке в химическом растворе. Он вспомнил, как зазывал Вронскую к себе, потому что все другие либо спали, либо были расписаны по таким же, как он, любителям ночного бдения, признавался однокурснице в спрятанной на долгие десятилетия любви, вспоминал, как она, юная, с тонкими ножками и длиннющими пальцами рук делала ему массаж кистей и фаланг его коротких пальцев. Они всегда сидели на задней парте и вместо вдумчивого восприятия основ научного коммунизма слегка занимались, как сейчас это называется, петингом... Романа между ними не случилось: то ли будущий искусствовед испугался чего-то, требующего обязательств, то ли ему тогда нравились взрослые женщины — в общем, не задалось. А еще он вспомнил, что через семь лет после окончания вуза встретился с Вронской в ГУМе, они зашли в ресторан гостиницы «Метрополь», где выдули ящик шампанского, закусывая тарталетками с белужьей икрой, а потом, чуть ли не вальсируя, перетанцевали из ресторана в номера, где до утра наверстывали на фирменном пуховом матрасе то, чего не случилось в юности...

Евгенич закурил сигару, запустил к потолку дымы и подумал о Вронской уже с меньшей неприязнью. Да и ему стало значительно легче — может,

от водки или от приятных воспоминаний. Евгений включил мобильник и позвонил другу Долгоносову и пытал, как у того с женой Ирккой, которая была аж на восемь лет старше мужа. Ха-ха-ха, ей уже за шестьдесят!.. Долгоносов отвечал, что с Ирккой все хорошо.

— А осечек не бывает? — пытал Евгений. — Ну как бы возраст, серебряная свадьба отгуляна в прошлом году? Клево было, да? Стоят еще мои подсвечники али загнал?

Долгоносов отвечал, что осечек с женой не бывает, так как все уже на автомате, а вот со студентками иногда — видит око, да зуб неймет.

— А подсвечники ничего не сто#ят, так как за серебро нынче много не дают!

— Это восемнадцатый век, придурок! Виагrotchку прикупи!

— В ломбарде платят только за вес!

— Да я сам у тебя их куплю!

Дальше Евгеничу продолжать разговор с Долгоносовым не захотелось, и он отключился от связи. Опять подумал о Вронской. Припомнил, как на автопилоте показывал ей свой дворец, как угощал коньяком с грильязем в шоколаде... Потом провал, и... они уже в постели. Еще он вспомнил анатомию Вронской, вернее, часть ее, ту которая ниже пупка, куда... В общем, она была заросшая, как в старые добрые советские времена. Не то что у его девчонок — все гладенькое, будто и не росло ничего...

В трусах потяжелело и Евгений понял, что именно черный треугольник Вронской, мягкий, почти пушистый на ощупь, поднял его, пьяного и отупелого, на подвиги... От нее хорошо пахло, она была нежна какой-то выстраданной нежностью, занималась любовью с чувством, и Евгеничу было так хорошо, что он забылся и после освобождения заснул на ее груди. А она, умничка — вот что значит взрослая женщина! — уехала в Москву еще до того, как он ото сна очнулся...

Евгенич выпил еще соточку водки и подумал, не связать ли свое увядание с прекрасной Вронской, с которой есть тот самый пушкинский покой и нега арабских стихов. Его душа ответила: да, Вронская спасет, и мозг повелся за душой...

Через полчаса воспоминаний рука Евгенича потянулась к телефону, и он набрал двадцатилетку Юленьку с потрясающей жопой, светлыми глазами, велел ей быть в следующую пятницу и ни в коем случае, упаси бог, не брить пи...ду, да и подмышки тоже.

— Евгенич, ты что?!!

— Повышенная стипендия гарантируется! — обещаю. — Ленинская!

Больше он никогда не вспоминал Вронскую.

## ХВОРЬ

Семен Яковлевич Слепак после пятидесятилетнего юбилея затосковал отчаянно. Настолько сильно, что даже не понимал, что случилось. Все в его ареале обитания казалось налаженным до синхронности, арендный бизнес давал приличный доход, картины продавались в Европе с пылу с жару, дети выросли и были успешны, женщины имелись в достаточном количестве, чувствовал себя юбиляр физически хорошо, разве что где-то там по мелочи, — но вопрос «Что со мной?» в последний месяц был спутником Слепака двадцать четыре часа в сутки. Ему снились кошмары, но когда поутру, проснувшись в поту, он анализировал сны, в них ничего эдакого не обнаруживалось. Что со мной?! Кризис среднего возраста? Да нет, он давно прошел, слава богу попрощались... Что делать в жизни, каких целей достигать, какие ставить перед собой, с кем жить, с кем пить, с кем спать — ничего из вышеперечисленного Семена Яковлевича в плохом смысле слова не будоражило. Он давно понял, что все, что было намечено в юности как финальные достижения жизни, случилось уже до тридцати пяти лет. Он построил дом, и не один, родил сына, и не одного,



а деревьев посадил хренов лес! Бизнес его интересовал лишь как сопровождающее его художнической деятельности и благополучия семьи... И развелся Слепак с женой почти безболезненно — как только сыновья окончили три курса университета в Британии, — решив, что мальчики взрослые, и посчитав, что жизнь с женой без цели до самой смерти куда как сомнительная радость и ценность. Он совсем не собирался брать молодую жену, как думали ненавидящие его подруги жены, — Семен Яковлевич просто хотел жить, не ставя никаких целей. «Жить здесь и сейчас!» — частенько и с некоторым пафосом говорил он своим сыновьям по телефону, а друзьям — по субботам в бане. И те и другие соглашались, а уж он верил в это как в «Отче наш»... И тут на тебе! Женщин совершенно не хочется, картины писать не может, сериалы надоели, даже в баню на еженедельную встречу с друзьями ходить перестал... Депрессия?.. Ну уж нет! Он никогда не впадал в депрессию, считая, что деконструктивизм в душе — вещь по меньшей мере странная. Опускаться себя в черную мрачную яму добровольно — нет уж, извольте.

На всякий случай он зашел к знакомому психиатру, уже понимая: коли посетил врача — значит, точно не депрессия. Депрессия врача не ищет. Он коротко обрисовал доктору круг своих проблем, почти наизусть зная, что тот начнет ему советовать.

Вполуха он выслушал, что занятия спортом пойдут на пользу, умеренное питание, поддержание сексуального здоровья — залог успешного вхождения в золотую пору человеческой жизни. Напоследок доктор наук осторожно предложил немного химии для поддержания хорошего настроения, но Слепак отказался наотрез и ретировался в подмосковный дом. Спортом он занимался регулярно — играл в гольф, сексом — даже часто, правда, до юбилея, а химия... Он разок-другой в неделю снюхивал дорожку кокаина, впрочем, никогда не увлекаясь порошком или чем-то там другим в таком роде. Так что химия — для химиков!

Попивая красное вино из собственного винного подвала на пять тысяч бутылок, он вдруг подумал, что так угнетающе на него может действовать скрытое физическое нездоровье. Вполне вероятно, что это мучительное состояние душевной маяты — сопровождение какой-то серьезной болезни, даже, может быть, очень серьезной...

На следующее утро он посетил кабинет магнитно-резонансной томографии, где в течение трех часов его организм просканировали самыми тонкими срезами, просмотрели сердце с контрастным веществом — и ровным счетом ничего не нашли. В голове все хорошо, в теле — по их части — тоже...

Слепак отправился на УЗИ, но и здесь все было в возрастной норме, даже ректальное исследова-

ние предстательной железы не вызвало у узиста никаких вопросов. Еще через два дня он сделал под наркозом колоноскопию и гастроскопию. В прямой кишке — идеально, а в желудке легкая эрозия с уклоном в гастрит, о которой он всегда знал, принимая для профилактики «Омес». Анализ крови показал, что ее может пить даже грудной детеныш вампира.

«Ну и что за херня со мной?» — мучился Слепак.

Семен Яковлевич решил выбить клин клином и собрал в пятницу серьезную вечеринку с друзьями и многочисленными проститутками. Был приглашен цыганский ансамбль, под который все ушатались и перетрахались. Его лучший друг галерист Птахин, сам того не зная, переспал с трансвеститом и предъявил наутро фотографию своей ночной девушки с мужскими гениталиями, присланную ему в качестве сувенира. Поохали-поохали, решили примерно наказать сутенера Петрушу — выставить негодя на бабки, но галерист Вадик, человек широких сексуальных взглядов, особо сильно напрягаться на этот счет не стал: у него в постели и не такие бывали...

Пир разврата с танцами под цыган облегчения не принес — наоборот, всю последующую неделю Семен Яковлевич маялся еще больше, и совершенно уединившемуся в загородном доме художнику

становилось тоскливее. Даже еду он заказывал домработнице через эсэмэс. Ему было тягостно, как будто все зубы ныли одновременно и не переставая, и лишь алкоголь немного исправлял неизвестное науке состояние. Приходилось выпивать по несколько бутылок вина в день, что Слепак расценивал как еще более дурной знак. Он никогда много не пил, едой не увлекался, придерживаясь здорового образа жизни, — а здесь состояние, близкое к определению «пьянство»... Жить художнику, несмотря на отчаянную маету, хотелось, и он прекратил эксперименты с алкоголем, решив мучиться на сухую. Выхода не было...

А недавно ему попала книга Ломброзо, в которой тот описывал причуды и отклонения гениев. Кто-то писал книги, сидя в ванне с осенними листьями, кто-то ваял скульптуру голышом с павлиньим пером в заднице, один математик даже втыкал себе в плечо иголки, и только после этого ритуала его сознание расширялось и он совершал великие открытия... Но напугало Семена Яковлевича то, что было куда страшнее причуд творческих натур. Ломброзо описывал, что огромное количество этих великих граждан мира всех времен и народов закончили свои дни в полной домашней изоляции, страдая паническими атаками, будучи при этом психически как бы здоровыми людьми. Многие по двадцать лет, до самой смерти, не выходили из

квартиры, общаясь с внешним миром через близких — если таковые были... Слепак так сильно испугался, что сам перестал выходить на улицу, и хотя панических расстройств у себя не наблюдал, но готовился к ним. Он перестал отвечать на телефонные звонки и даже пищу принимал неохотно.

Через две недели к нему прорвался друг, галерист Птахин, и уже на входе в каминный зал принялся вербовать Слепака на путешествие:

— Поедем, Сеня, в горы кататься на лыжах! В Альпы! Будем пить на солнышке глинтвейн, ты станешь волочиться за девушками, а я...

— Отстань, Птахин! Тебя в гости никто не приглашал! Поди прочь!

— А под парусом походить? — не унимался друг. — Рыбалка, свежая рыба, ветер! Возьмешь себе юнгу с сиськами!

— У тебя же морская болезнь! Заблудеешь все Средиземное море! И вообще — чего пристал?! Может быть, я умираю!

— Да ты здоровее всех живых!

— И здоровые умирают, осмелюсь тебе доложить! Стоишь в скверике с собачкой, воздухом дышишь, ничего тебя не волнует, и бац — ты уже мертвый валяешься мордой в клумбе.

— Ну прекращай, прекращай это нытье, Сеня! Погубишь себя! Поедем тогда в Израиль, в Храм гроба Господня заглянем, там у меня знакомый

араб, его семья держит ключи от Храма пару столетий! Заедем в Вифлеем, потом в Эйлат, покупаемся, поедем баранинки халяльной... Ты хоть был в Израиле?

— Нет... А чего я там забыл? Там палестинцы ракеты запускают! И я агностик!

— Да хрень это все, Сеня: у палестинцев не ракеты, а петарды. Пока еще никого не убило! Израиль — самая безопасная страна в мире! А женщины там — у тебя крышак снесет!.. А агностик ты или гностик — всем пофиг!

Птахин еще минут двадцать упоенно перечислял достоинства и радости ближневосточного государства, а Слепак вдруг осознал, что слово «Израиль», так часто упоминаемое галеристом, не вызывает у него отрицательных эмоций, как Альпы, например, скорее даже наоборот. Ему представлялся светлый, солнечный город Иерусалим, столица всех религий, утреннее пение муэдзинов, восточный базар с невероятными запахами, женщины с печальными оливковыми глазами и...

— Поехали! — согласился Семен Яковлевич.

— Что? — осекся на полуслове Птахин.

— Заканчивай пропаганду! Я еду!

...Друзья поселились недалеко от Тель-Авива, в городке Герцлия, в очень приличном отеле. Они искупались в море и ходили в хороший ресторан с прекрасным местным вином. Договорились, что

завтра посетят Иерусалим, взяв гида и арендовав мини-вэн с водителем.

И нанятый гид, еврей Жора Лифшиц с огромным крестом на волосатой груди, водил их без усталости по достопримечательным местам, с упоением рассказывая разные истории и предания. У Жоры везде были концы, и художника с галеристом всюду пускали без очереди. Обедали в известном ресторане, где все блюда готовились из курицы. Потрошки, отдельно рагу из сердечек и печенок, крылышки в разных соусах, куры копченые и гриль, куриные язычки в сладком соусе. Было вкусно и приятно. А вино «Шато Голан» даже порадовало.

А потом они на ослах поднимались в гору, где на стенах ущелья расположился, будто прилепленный к каменным стенам, православный монастырь. Настоятелем там служил американец, отец Фокий, длинный и худой, как жердь, который на ломаном русском рассказал о своей великой мечте быть похороненным — настоятель показал пальцем на люк типа канализационного — в бункере, где покоятся его собратья по вере.

— И сколько там ваших? — поинтересовался Птахин.

— Шестьсот двадцать три черепа!

— Ясно.

Для Семена Яковлевича все эти желтые черепа выдающихся монахов, мощи отшельников, бунке-

ры с костями, образа святых были лишь культурной составляющей мирового искусства, никак не более того, так как он был, как уже известно, агностиком.

На какое-то время маята отпустила душу Слепака, и он было возрадовался возможному исцелению, но к вечеру хворь вернулась с удвоенной силой. Художник сочно выругался и в шортах цвета хаки и майке с коротким рукавом спустился из гостиничного номера в бар, где, заказав бутылку виски, принялся уничтожать ее с огромной скоростью.

На третьей порции Семен Яковлевич увидел в противоположном углу пристально смотрящего на него, не отрывая своих черных глаз, немолодого еврея в лапсердаке, с седой бородой до груди. Неприбранный, в несвежей рубашке, он продолжал волновать сердце Слепака своим пронзительным взглядом. Турист из России жестами предложил хасиду, или кто он там, присоединиться к бутылке «Блэк Лейбла» для ее совместного распития. Еврей поднялся из кресла и уверенным шагом перебрался на диваны к Семену Яковлевичу.

— Господин Слепак? — спросил незнакомец, чем сильно удивил пьянеющего постояльца.

— Да... А вы кто?

— У меня есть две ваши картины.

— Ах вот оно что! — обрадовался Семен Яковлевич. — Вы коллекционер?



— Нет-нет! — замахал руками еврей. — Я коллекционирую только книги! Определенного содержания.

— Так откуда у вас мои работы? Кстати, выпьете? — он подозвал официанта. — Неплохое виски...

— Нет-нет! — опять замахал руками новый знакомый, когда официант попытался налить ему в принесенный бокал. — Я выпью водки!

— Конечно! — обрадовался Слепак и распорядился принести холодную русскую. — Не любите виски?

— Не кошерно.

— А водка?

— А водка кошерно всегда.

— Давайте знакомиться, — предложил Семен Яковлевич. — Я Семен! — и протянул руку. Новый знакомый тряхнул ее коротко, после чего, выпив водки с чувством и пониманием, назвал себя Мойшей:

— Миша на русский манер.

— Так откуда у вас мои картины?

— Вы же не коренной москвич, верно? — вопросом на вопрос ответил еврей.

— Нет. Но по Википедии я москвич!

— На ваших двух картинах, которые я купил, нарисованы дворики города Седнева. Я родом из Седнева.

— Ох ты! — обалдел Слепак. — Мама моя дорогая!

— Я поэтому к вам и подошел, что мы оба родом из Седнева.

— Так мы земляки!

— Да, — подтвердил Мойша и выпил здоровенную порцию водки, опять ничем не закусив. — Я на Ленина жил. А вы?

— Напротив Георгиевской церкви!.. Я никогда еще не встречал никого из Седнева! — улыбнулся Семен Яковлевич, взглядываясь в лицо неожиданного знакомого.

— Не напрягайтесь! Не узнаете. Я уже в семьдесят втором репатриировался. Вы тогда еще ребенком были.

— Мне было четыре года.

— Ваша мама еврейка?

— Да, а что?

— Это важно.

— Все детство я проговорил на идиш. А сейчас совершенно забыл.

— Таки и я не бойко помню! Язык почти умер.

— Выпьем за Седнев? — предложил Слепак. — Отец заставлял меня рисовать только миноры. Я их нарисовал тысячи. Мы их продавали и жили на это... Давайте выпьем!

— Охотно это сделаю. Какую я могу найти причину, чтобы не выпить?

— Не знал, что религиозные евреи пьют! — признался художник, разливая по стаканам. — А вам не запрещено?

— Если еврея спросят, пить или не пить, еврей всегда ответит — пить! Все, что на земле, — все для человека. Еда, вино и солнце. Есть, конечно, исключения.

— Хорошо вам, евреям! — позавидовал Семен Яковлевич.

— Хорошо, — согласился Мойша и, выпив на посошок, засобирался домой. Художник, уже сильно поднабравшись, удерживать земляка не стал. Еврей дошел уже почти до дверей отеля, но вдруг вернулся: — А знаете что? Приходите ко мне часикам десяти утра в гости! — предложил.

— Так рано? — удивился Слепак.

— Завтра Шабат рано... А вам надо порешать проблемы.

— Какие проблемы? — удивился художник.

— Сами знаете!

— Не знаю.

— Знаете.

— А можно с другом?.. Я здесь с другом.

— Друг тоже болен?

— А я болен?

— Как сказать.

— Друг здоров.

— Вот и приходите один. Детей и жены не будет, а друг пока на массаж ходит. — Еврей выудил из кармана лапсердака блокнотик с карандашиком и, оторвав листочек, чиркнул на нем. — Мой адрес... Да, и приходите в брюках!

Мойша ушел, на сей раз не оборачиваясь, а Семен Яковлевич погрузился в ностальгические воспоминания детства, связанные с родным Седневом...

Он поставил будильник на девять, чтобы успеть позавтракать, и, улегшись в постель, скоро заснул.

Наутро, съев в ресторане омлет с салатом казух, Слепак написал Птахину эсэмэс, в котором сообщил, что отлучится часа на три и что оставил ему на рецепшен свой ваучер на бесплатное посещение СПА... Сам сел в такси и прибыл по адресу на десять минут раньше договоренного. Во дворе дома, в котором проживал Мойша, группа разношерстных и разновозрастных людей что-то активно обсуждала на иврите, через каждые два слова сбиваясь на русский. Он обошел собрание сбоку и вошел в подъезд старого дома, совершенно запущенного. Поднялся один пролет, постучался в означенную квартиру и был впущен в нее вчерашним знакомым, который утром оказался гораздо любезнее, чем вечером. В квартире Мойши было чисто, но очень просто. Только в комнате, куда был приглашен Слепак, на полу лежал небольшой ковер, частью уходящий под письменный стол, за который уселся еврей. Семен Яковлевич приземлился в старое морщинистое кожаное кресло и с интересом разглядывал стеллажи с книгами на иврите, расположенные по всему периметру кабинета, от пола до потолка.

— Все книги на иврите?

— Да, конечно... Хотя вру, есть Толстой на русском.

— Лев?

— Он.

Ни чая, ни кофе предложено не было. Мойша опять пристально смотрел прямо в глаза Слепаку и казался гораздо старше, чем накануне. Молчание продлилось какое-то время, слегка затянувшись.

— У вас очень мило! — одобрительно кивнул Семен Яковлевич, нарушая паузу. — Хотя немного аскетично.

— Вам надо научиться играть на гитаре! — безапелляционно заявил еврей.

— Зачем? — От неожиданности художник чуть было не поперхнулся собственной слюной.

— Очень приятно научиться на чем-то играть. Например, барочная музыка отлично звучит в гитарном исполнении!

— Вы играете?

— Нет.

— Тогда откуда знаете?

— Мне так кажется.

На какой-то момент Слепак стал подозревать в Мойше человека минимум странного, а может, и не вполне здорового. Дурной какой-то земляк...

— Может быть, вам надо самому попробовать гитару?

— Мне не надо. У меня нет маяты в душе.

— А у меня есть?

— Определенно... Не хотите играть на гитаре — идите в политику! Или похудейте!

— В политику?! — изумился Слепак. — Вы мне советуете нырнуть в выгребную яму?!

— Почему же? — Мойша разгладил бороду. Его руки с длинными белыми пальцами были руками старика. А глаза сверкали по-юношески. — Вы могли бы помочь деятелям культуры доносить моральные принципы, чтобы они, в свою очередь, сеяли...

— У меня не слишком много принципов! — начал раздражаться художник. — И у меня есть профессия. Вы знаете. Кстати, я вешу много меньше, чем нужно. Я поправиться не могу, хоть врачи и советуют! А вы говорите — худей!

— Да-да, вы художник, — будто вспомнил еврей. — Хотите посмотреть свои работы? Они в другой комнате.

— Не особо.

— Вы уже тридцать лет рисуете. Не надоело?..

— Сорок... И не надоело!... — Здесь Слепак неожиданно задумался. Мойша ему не мешал, старательно чесал ухо. — Осточертело, боже, как все осточертело! — неожиданно признался себе Семен Яковлевич.

— Вот и я говорю — займитесь чем-то другим. Если что-то осточертело — значит, ваше ведро с этим *чем-то* опустело. А ведро нам дарят. Мы

никакой заслуги за это ведро не имеем. И никто не знает, сколько в нем налито. До краев или на доньшке. Согласитесь, малоприятное занятие — скрести по пересохшему жестяному дну.

— Но как мне заняться чем-то новым, если мне уже пятьдесят два года?

— А мне семьдесят два, и я все время учусь. Чем дальше учусь, тем все больше нового надо учить.

— Чему же вы учитесь, позвольте спросить?

— Я учусь лучше понимать, чего от меня хотят там, — еврей указал белым пальцем в потолок.

— Я агностик. Вы хотите, чтобы я крестился, или как там еще? И, типа, тогда все мои душевные мучения закончатся?

Здесь еврей так засмеялся, так захохотал громко и с задором, показывая отличные белые зубы, что Слепак почувствовал себя школьником, обоссавшимся перед своими одноклассниками. Он хотел было подняться, чтобы уйти, но с первого раза глубокое кресло не отпустило.

— Не обижайтесь, прошу вас! Мой смех к вам отношения не имеет!

— Тогда к чему же? — Слепак продолжил попытки встать.

— Там в кресле сбоку есть рычажок, нажмите — спинка встанет в нормальное положение, и вы сумеете подняться. Я смеялся не над вами — просто

я увидел в окно, как большая ворона уносит со двора моего кота...

— Что же здесь смешного? — художник переключил тумблер кресла.

— Просто мой кот всегда возвращается, а вороны — нет! Чтобы победить, надо показать, что тебя побеждают! Двадцать первая ворона, кстати.

— А почему только Лев Толстой? Почему нет Конфуция?

— Ваши папа с мамой крестились? Ходили в церковь?

— Нет.

— Толстой как-то получил письмо от одной женщины, в котором та спрашивала, что ей делать, если она православная, а муж мусульманин. Что делать с мальчиками — ведь приближается их тринадцатилетие. Какую веру принять? — задала женщина основной вопрос. На что Толстой в ответном письме категорически посоветовал выбрать мусульманство. Выбирать надо единобожие. Монотеизм по-научному.

— Теперь я понимаю, почему его отлучили от церкви.

— Никто его не отлучал!

— Как же, всем известный факт!

— Это ерунда. Толстой последние десять лет своей жизни занимался иудаизмом и выучил иврит — это в восемьдесят-то пять лет!



— Значит, вы подталкиваете меня к иудаизму. Блатуете?

— Упаси Господь! — сморщился Мойша. — Я вас от этого шага, наоборот, буду отговаривать со всеми усилиями... И вы же агностик, я помню... Вот и оставайтесь им... И не блатую я вовсе...

— Так что же? В чем причина моих... моего дискомфорта?

— Не знаю, — признался старый еврей.

— Зачем я у вас сижу тогда?

— Вы ищете способ, чтобы вам стало лучше. Я — один из способов, который вы пробуете.

— И мне лучше, по-вашему?! — уже не скрывал раздражения Слепак.

— По мне, таки да!

— И в чем же?! — почти выкрикнул художник.

— У вас живые эмоции. Хорошая злость, раздражение! Уже неплохо!

— Пошлите меня на хуй — у меня тоже возникнут эмоции!!! Какая разница?!

— Я тоже, еще с СССР, люблю выражение «на хуй». Кстати, если вы возьмете собаку на воспитание, ее надо иногда ругать матом! Очень доходчиво для животных! Кинологи советуют.

— Всего доброго! — нашел в себе силы попроситься Семен Яковлевич, наконец выбравшись из кресла.

— И вам... — Уже в дверях Слепак услышал во-

прос, который еврей задал то ли ему, то ли себе: — А может, гаишником, простым постовым?

Разъяренный Семен Яковлевич хлопнул дверью и сбежал по лестнице. Люди, которые обсуждали что-то до его прихода, обступили Слепак и спрашивали наперебой по-русски:

— Помогло? Как вы?.. Вам посчастливилось!.. — Кто-то вдруг сказал, что Мойша Коэн мог бы стать лидером поколения... Богатейший в Израиле человек — донеслось.

«Нафиг из этой страны, — думал Слепак, сидя в такси. — Ну и мудака этот Коэн, конченный! Лидер поколения! И как я мог купиться?! У него даже кофеварки нет! Жид!!!»

Он вернулся в гостиницу, где нашел Птахина загорающим возле бассейна после расслабляющего массажа.

— Как его зовут, говоришь? — переспросил галерист.

— Коэн. Мойша Коэн.

— Вот! Вот откуда я знаю это имя!

— И откуда?

— Из «Новостей Израиля». Программа на русском по телику. Смотрел, когда обертывание делали.

— И?

— Он действительно сказочно богат, если смог позволить себе дать десять миллионов долларов для только что прибывших репатриантов.

— В голове не укладывается! Дом разваливается, обстановки почти нет. На хрен ему бабло? И такую чушь несет — даже стыдно за него. Семьдесят два года человеку, а ума не нажил!

— У евреев считается, — пояснил Пряхин, — что жизнь — это отрезок для души, в котором душа должна исправиться. Для вечности. А Коэна все богатства ждут там, — Пряхин ткнул пальцем в небо.

— Пряхин, ты что — еврей? — с удивлением посмотрел на друга Слепак.

— Нет. Но интересно все же тут у них!

— А мне нет!

Друзья вернулись в Москву. Семен Яковлевич в понедельник навестил своего товарища, генерала ГИБДД со звучной фамилией Кутузов, семью которого нарисовал вплоть до троюродных колен. Он попросил, чтобы генерал посодействовал и устроил его работать простым постовым в городе. Кутузов сначала не поверил, смеялся громко, по-командирски, затем, поняв, что Слепак серьезно, долго его отговаривал, потом предлагал посидеть в «стакане» на Рублевке, но художник настаивал:

— Простым регулировщиком. Рядовым.

— Сеня, ты охуел? — поинтересовался генерал.

— Скорее да, чем нет.

Кутузов позволил Пряхину побыть постовым только один день. Семену Яковлевичу выдали форму, бляху с номером, портупею и сапоги. Сутки он

простоял на холоде рядом с юным сержантом посреди Нового Арбата и к концу дня оштрафовал двоих водителей за неправильную парковку. Вернувшись домой, он всю следующую ночь блевал — надышался выхлопными газами, — кляня себя за идиотизм, затем проспал как убитый полтора дня. Во сне ему явился чудный женский образ, который он рисовал весь следующий месяц, а после того, как закончил, сам залюбовался своей работой.

— А в ведерочке еще налито! — с удовлетворением сказал Слепак своему отражению в зеркале.

Хворь прошла.

## ЕГО ЖЕНЩИНЫ

Он любил женщин и ненавидел, женщины любили и ненавидели его. Было... Сегодняшним днем, пасмурным и тоскливым, он понял, что любил и любит по-настоящему в своей жизни всего лишь трех женщин. Первая — его мать, рыжая роскошная бестия, фурия, которой нет уже двадцать лет, обделившая его своей любовью, зато позволившая любить себя истово, до нервного истощения. В саду на пятidineвке, когда она раз в летний месяц навещала сына, одаривая литровой банкой молодой картошки с укропом и маслом, стекающим по стеклу, он был готов умереть за эту банку картошки — но поделиться с кем-нибудь и крошкой единой не мог. Его обзывали жадиной, жидом, но он не МОГ делиться матерью. Такая странная огромная любовь — за банку картошки... Из-за этого детского безответного чувства он не мог разговаривать с ней, когда вырос в молодого мужчину... А потом она умерла, в расцвете сил, и словно бездна под ногами разверзлась. Бездна недолюбленности, в которой — недообъятия, недопоцелуи, недожизнь... Лишь с возрастом он вдруг понял что-то главное и запоздало закричал всем нутром:

«Только живи, мамочка, живи! Не надо мне объятий и поцелуев, будь на десять тысяч километров от меня — только живи!!!»

Потом была бабушка Юдифь. Договорившись с дедушкой, они забрали его из интерната к себе, и он провел с ними четыре волшебных года, полных любви. Пока не умер дедушка. Бабушку словно самую лишили жизни, но она собралась и жила ради него. Тряслась над внуком — своим единственным смыслом... А его эта «тряска» раздражала, он часто срывался на нее, злился, а о любви к той, которая отдала ему всю себя, даже думать не мог... Она была великой женой, осталась после смерти деда великой женщиной. Все ее подруги пережили мужей, а она — своих подруг. Юдифь проводила каждую (почему-то все умирали мучительно и долго), не умаляя их чувства собственного достоинства, ухаживая за неподвижными от болезней телами, заботясь до конца, до стучающейся о крышку гроба земли. Когда умерла его мать, она сказала: «Я так и знала...» Юдифь очень хотела правнучку, так как в ее семье по мужской линии лет двести девочки не рождались. Хотела, мечтала, но застала только двух правнуков. Почти безгрешная, она как-то села утром на стул — и ушла из жизни. За ней не пришлось ухаживать, мучиться ее ежедневными страданиями. Она позаботилась об этом... Он часто плакал про себя о невозвратном: я люблю тебя, моя

бабушка, моя Юдифь, Я очень виноват, что не смог дать тебе своей любви...

Дочка, ее правнучка, родилась через два года после смерти бабушки... В этой девочке слились все женщины его рода. Она нестибаема и с рождения имеет качества настоящей женщины. Она готова с кулаками отстаивать свои принципы и очень любит отца, отдавая бесконечное диво нежности и понимание, которых не смогла дать ему его мать. Он стоял над ее кроваткой и шептал, чтобы не разбудить: «Я люблю тебя, Юдифь, моя родная! Счастлив безмерно, что ты у меня родилась!»

## БОРЮСИК

Борюсик родился в роддоме им. Грауэрмана в свежий погожий весенний день и, как положено, зарыдав от несчастья собственного появления на земле, пустил в небеса янтарную струю. Хотя и родился младенец богатырем весом почти шесть кило и ростом пятьдесят шесть сантиметров в самой лучшей стране мира, но новоявленное сокровище рыдало без остановки первые двое суток, а акушерки между собой шептались, удивляясь, отчего этой «сливке» общества здесь так не нравится. «Здесь» — имелось в виду в привилегированном этаже для жен выдающихся людей Отчизны. Отец Борюсика денно и нощно трудился вторым секретарем МГК КПСС, а мать-домохозяйка обеспечивала видному управленцу достойный быт с икрой и трофейным биде, так что наследнику, которому предстояла, по мнению персонала роддома, жизнь с привилегиями, казалось, завидовали все младенцы, рожденные в семьях обычного народа.

— И чего орет? — удивлялась старейшая в роддоме повитуха Каплан, принимавшая в свое время детей лидеров революции, за что ее чуть не расстреляли: типа, чтобы не раскрыла секреты



обустройства влагалищ подруг социалистических вождей, например Японии, где, по мнению граждан и гражданок Страны Советов, у узкоглазых японок сие место располагалось поперек, не как в наших автоматах газводы, где прорезь для монеты находилась там, где положено. Уж поверьте!.. Помучили Каплан в тюрьме для врагов народа всего-то пару месяцев, еще не пытали в полную силу — так, зубы все выбили, но здесь к стране пролетариата пришвартовался круизный лайнер, затем спецвагоном в столицу прибыла рожать нового бойца за коммунистические идеалы жена видного коминтерновца. Элитного персонала не хватало, и Каплан отпустили, обещав, что навсегда, если роды чернокожей жены бразильского любителя Маркса пройдут успешно. Негритянка разродилась легко и просто, почти без помощи специалистов, и Каплан прокомментировала легкое разрешение от бремени тем, что на кой хер обезьяне вообще роддом. Мол, села бы под пальмой по большой нужде, потужилась — и заодно ребеночка бы произвела из соседнего отверстия... Особист процедил в ухо акушерке, что если жидовская харя откроет свою пасть с комментариями еще хоть раз, то ее жидярской кровью покрасят Ленинскую комнату...

— Зачем, сука, в вождя стреляла?!

— Не я!

Акушерке удалось сохранить свою кровь в эти веселые десятилетия, так что сейчас во времена большого послабления она свой еврейский рот не закрывала.

— И чего этот жиробас надрывается?! — удивлялась Каплан. — Папаша вон каждый день на «ЗИСе» черном прикатывает с личным водителем и пакетами со жратвой, которой никто раньше и не видал! Смотри, какой мордатый, разожрался жирдяй на народных харчах, еле по лестнице поднимается, и жена впору — свиноматка, жопа по полу тащится, хоть на ВСХВ выставляй! Ее бы на сало рабочему люду, ха-ха!.. Сама-то я свинину не ем! — добавляла. — А этому маленькому жиробасеньшу ничего не нравится: ишь, еще одна вошь в тело народное впилась. — Молодые акушерки улыбались с осторожностью, но еврейку Каплан любили... — А Ленинская комната так и не покрашена, в рот ему конем!..

Через три дня Борюсика привезли на «ЗИСе» в просторную квартиру в центре Москвы, с видом на Кремль... Младенец понемногу смирился с появлением на этот свет, орать как бешеный перестал и лишь хныкал иногда, когда требовалась мамкина грудь. В помощь жене второго секретаря была придана кормилица с огромными, полными молока буферами, которыми она вскармливала не первое партийное дитя, и Борюсик, не останавливаясь,

пользовался молочной фермой на дому, набирая вес хорошо, радуя ответственного папу и домохозяйку-маму.

В три года Борюсика отдали в детсад ЦК для социализации, и в группе он был в три раза толще всех своих сверстников. Воспитательницы, члены партии и кандидатки, всецело поддерживали аппетит малыша, давая добавки столько, сколько в глазах Борюсика было мольбы.

А потом школа. И здесь у ши на теле народном появились первые проблемы. Одноклассники прозвали Борюсика Жиром и всячески недружелюбно проявлялись по любому поводу. Сначала просто дразнили, потом пытались бить сына уже кандидата в члены ЦК, отнимали принесенные из дома продукты питания — в общем, пытались испортить жизнь тому, кто просто выделялся из общей среды толстой жопой и мордой гиппопотама.

Борюсик оказался человеком терпеливым, относился ко всем невзгодам жизни толерантно, одноклассников своих не сдавал, а стоически проживал не слишком счастливые годы, оставаясь при этом добряком, и улыбался серой стране с ее серыми, как мыши, гражданами. Зубы у Борюсика были редкими, но улыбка казалась весьма симпатичной. Впрочем, к концу школы, за пару лет до ее окончания, над Борюсиком перестали глумиться, уразумев за долгие годы травли, что толстый огромный

пончик, постоянно читающий на переменах и что-то жующий, имеет непроницаемый жир, который броней защищает сердце хозяина от натиска вражеских эмоций.

Школу Борюсик окончил относительно неплохо, но в институт поступать отказался, причем наотрез, чем вызывал в отце неистовый гнев. Член ЦК громогласно кричал, что выкинет недоросля на улицу, после чего отпрыск спокойно принимался собирать чемодан, мать бросалась к мужу в ноги, но ни супруг, ни Борюсик своих позиций не сдавали. И так каждое утро.

— Я сказал — пойдешь в университет!

— Нет, папа.

— В лагеря закатаю! — орал член ЦК, багровея и синея, пока лицо его не становилось сизым.

— Не те времена! — спокойно отвечал Борюсик и продолжал собирать вещи. — Ты так не волнуйся, пап! Я все равно тебя люблю.

В один из вечеров примерно в этой части разговора в голове отца что-то лопнуло, сосудик какой-то не выдержал напряжения, и кандидат в члены Политбюро рухнул, словно колонна Большого театра, чем вызвал сотрясение конструкций во всем доме, а у них в квартире погиб весь мейсенский фарфор с хрусталем в придачу.

Он не умер, но был парализован до шеи, лежал в кровати и хлопал грустными глазами. В течение

года парализованную надежду партии сначала вывели из кандидатов в члены Политбюро, затем из ЦК, и единственное, что осталось у слуги народа — квартира с видом на кремлевские звезды, персональная пенсия и жирная жена с жирным сыном. Телефон, казалось, замолчал навсегда, в квартире воцарилась печаль, смешавшаяся с невыносимой тоской, от которой Борюсик бросился в военкомат, чтобы призваться в армию, но не прошел медкомиссию вследствие патологического ожирения.

Отец умер перед Новым годом, мать поплакала с месяц и отправилась вслед за мужем на Ваганьковское кладбище. Ни тебе кремлевской стены, ни даже Новодевичьего...

Борюсик остался один и жил себе потихоньку. Он не любил себя, свое огромное тело, но по-христиански терпел и свое убожество, и насмешливые и презрительные взгляды прохожих, глазевших на него, как на слона в зоопарке. Молодежь и вовсе ржала не стесняясь, в голос.

Лет с двадцати Борюсик начал пописывать в газеты и журналы статьи о литературе, умные эссе, приносил стихи в редакции, кто-то из рецензентов его даже хвалил, но трудов молодого литератора не печатали, говоря, что это только задел на будущее, ты, парень, пиши, набивай руку.

Вода камень точит, и, когда огромному, стриженному ежиком толстяку было под тридцать, не-

ожиданно опубликовали его первый труд, вернее, критическую статью на сомнительные стихи некоторых молодых поэтов, о которых до сего времени никто и знать не знал. Тем не менее в статье еще говорилось о том, что поэты несомненно талантливые, что их сознание непременно отделит зерна от плевел и Страна Советов еще будет гордиться новой литературой... Благодаря статье никому неизвестные поэты стали звездами той эпохи, и вскоре их голоса действительно зазвучали во всех уголках необъятной Родины.

Борюсика стали все чаще печатать и платить достойные гонорары. В ателье индпошива, в котором его обшивали еще в детстве, он заказал несколько костюмов, в том числе и летние — белые, из фланели, просторные и модные, в которых его большое пухлое тело чувствовало прохладу летнего вечера, когда он, слегка пьяный, возвращался домой из ресторана ВТО. Идти-то всего пару шагов...

Часто по вечерам в огромной квартире Борюсика собиралась творческая интеллигенция, те самые поэты, слегка заматеревшие, гремящие по всей стране почти как классики, богемные женщины в сопровождении стильных и сильных мужчин. В такие приемы хозяин квартиры повязывал на шею огромный шелковый бант, когда желтый, когда синий или вишневый, становясь похожим на Пьера Безухова, за что его прозвали Наш Барин.

Большинство почему-то считали Борюсика педерастом, хотя свидетельств тому не имелось. Наш Барин ни к кому не приставал, не было в его голосе определенных интонаций, выдающих гомосексуальность, может быть, только цветастые банты... Собственно говоря, обществу было плевать на мужеложцев, так как если ты никому не докучаешь своей сексуальностью, живи как хочешь, спи с кем хочешь и бант носи хоть на шее, хоть на х...

Борюсик не был педерастом. Отнюдь нет. Он любил женщин, душою преклонялся перед ними, особенно перед совсем недоступными и чистыми. Его отношение к противоположному полу можно было бы сравнить с тонкой и чистой любовью Безухова к юной непорочной Ростовской... В отличие от героя знаменитого романа, Борюсик запретил себе всяческое общение с женщинами — здесь имеются в виду романтические и интимные связи, — считая себя абсолютно безобразным, квазимодо на русский лад. Он представлял свое огромное голое тело, словно надутое мощным насосом, с руками в младенческих складках и крошечным задом — и все это рядом с прекрасной женской наготой! Борюсика от таких воображений настигали рвотные спазмы, а потому он отучил себя от навязчивых мыслей о женщинах, направив все неистовые желания в литературный труд...

Ему было под сорок. Он с успехом, единогласно, был принят в Союз писателей СССР, а после выхода книжной эпопеи о династии семьи крестьян Гороховых-Укропиных, где прослеживались их судьбы от тьмы крепостного права до сегодняшнего времени, его жизнь круто изменилась. Тираж оказался очень приличным, и Борюсик стал зажиточным писателем. Он по-прежнему повязывал на бегемотскую шею фривольные банты, но больше не устраивал вечеринок с молодыми талантами, жил в одиночестве, взяв в помощь по хозяйству Галю, молодую деревенскую женщину из-под Тамбова. С ней как-то вдруг и случилось первое интимное соитие Борюсика, оно же и последнее. Наутро женщина застыдилась греха и, коротко собравшись, отбыла на малую родину.

Борюсик остался один. Иногда по вечерам он пил теплый коньяк, пытаясь опьянеть, но с такими физическими кондициями нужно было глотать по пол-ящика, а это было совсем депрессивно и расточительно. Борясь с подкрадывающимся одиночеством, писатель обратился к новым образам своего будущего романа, несколько месяцев провел в библиотеке, скрупулезно собирая материал, а потом почти полгода писал его, по десяткам страниц в день, словно зерно по пашне разбрасывал, растворяя свое одиночество в созданных им же иллюзиях.



А как-то утром в дверь позвонили. Он открыл и узнал в пришедшей женщине бывшую домработницу, которая, не поднимая глаз, судорожно сунула ему в руки сверток и, пробормотав: «Это ваше дитя», — почти покатила вниз по лестнице, дабы не быть пойманной. Борюсик и не думал гнаться за Галей. Он вошел в квартиру, неся в могучих руках что-то шевелящееся. Оно угукнуло, а затем из свертка запахло. Потом оно еще и заплакало, и Борюсику пришлось существо распеленать, обнаружив в нем перепачканную девочку, совсем крошечную, недавно рожденную.

Борюсик пялился на нее, не понимая произошедшего, как будто ему устроили розыгрыш, но, вспомнив бормотание женщины, ее слова, что это «ваше дитя», вдруг словно очнулся после обывательского сна и почти взлетел душой к солнцу. Перед ним будто открылась сакральная идея жизни, смысл ее великий и человеческое назначение в этом мире... Он был счастлив. Чувство переполняло, словно душу Борюсика как обычное ведро поставили под Ниагарский водопад. Он трясся всеми жирами, приговаривая: «Мое дитя, мое»...

Он назвал девочку Лизой, немедленно дав ей свою фамилию. У девочки появились сразу две няньки, а на лето снималась отличная дача со старыми яблонями. Борюсик почти забросил писательскую деятельность — как никчемную по срав-

нению с любовью к своей дочери. Каждый удар сердца он посвящал Лизоньке, не мог нагладеться на свое сокровище; покупал бесчисленные импортные игрушки у фарцы, ездил с ней в Парк культуры на карусели с эскимо, с газировкой с тройным сиропом и сахарной ватой. Он научился быть лошадкой, которая могла без усталки катать маленькую любимую девочку и кричать «Иго-го!».

Лизонька росла покладистой, ей очень шли цветастые платица, оттенявшие черные пытливые глаза. Она любила шлепать Борюсика по хомячьим щекам маленькими ладошками, а тот, в свою очередь, надувал щеки и издавал губами неприличный звук, похожий на те, которые издавал старый пес Игнат. Оба залиvisto смеялись, а пес Игнат пристыженно, с грустью в глазах удалялся с дачной веранды во двор.

Одного лишь боялся Борюсик. Он понимал, что наступит время, когда его дочь повзрослеет и увидит не сильного и красивого отца, а безобразие своего родителя, жирного, обильно потеющего увальня, и тогда... Он не знал, что «тогда»... «Тогда» его пугало больше, чем смерть!

Отбрасывая нехорошие мысли, Борюсик научился писать для Лизоньки добрые рассказы и перед сном читал их девочке, перемежая свое с классикой, а дочь, подрастая, все внимательней слушала голос отца. К десяти годам, к первому юбилею, он не толь-

ко завалил девочку подарками, но и вручил книжку, составленную им из рассказов ее детства, на которой было начертано посвящение «Моей дочери Лизе».

Борюсика внезапно признали как видного детского писателя, опять пришли огромные гонорары, но вся эта канитель — премии и награды, нелюбимые встречи с читателями, вся эта суета — происходила на задворках его сознания, которое было переполнено одной лишь дочерью.

Как-то утром Борюсик после душа стоял в одних безразмерных трусах перед зеркалом и, сбривая редкие волоски со своих щек, вдруг увидел в дверях ванной Лизоньку. Девочка смотрела на отца, будто впервые его видела. В кишках Борюсика похолодело, сердце затрепыхалось пойманным голубем, казалось, что он сейчас умрет. Вот он, тот час, тот момент истины, которого он больше всего боялся. Жирное ничтожное безобразие рядом с божественной красотой.

— Ах! — только и смог произнести Борюсик, а она вдруг смело шагнула в ванную и, погладив отцовское пузо сказала:

— Ого!.. Ого-го!!!

— Не бойся! — вымолвил побледневший отец. — Я сейчас, — и сорвал с крючка безразмерный махровый халат. — Не бойся, милая!

— Ты Гаргантюа! Ты точно из книжки! — Она еще раз ткнула кулачком в пузо и, засмеявшись, по-

бежала играть с подружками. Только зеркало видело слезы Борюсика.

Лизонька росла, а Борюсик, если девочка вдруг пристально всматривалась в его глаза, прощаясь перед сном, спрашивал:

— Очень страшный? — Дочь улыбалась белоснежной улыбкой. От нее пахло малиной и парным молоком. — Очень жирный, да?

Лизонька тыкала в живот отца пальцами с подростковыми колечками «неделька» и отвечала всколыхивая жиры и пуская по его пузу волны:

— Море, море, море! Волны, волны, волны!.. — И звучно целуя, желала ему на сон грядущий: — Спокойной ночи, ты совсем не жирный, не наговаривай на себя, ты как гора! — А когда у писателя бурчало в животе, добавляла: — Ты вулкан, я очень тебя люблю! — И уходила в свою комнату.

Так они и жили душа в душу, дорожа друг другом. Девочка выросла в девушку и училась в университете на филфаке. Там она познакомилась с третьекурсником, русским испанцем Хесусом Рамосом, чей отец-летчик разбился на русском самолете, сбитом немецким «Мессером». Она влюбилась в черноволосого смуглого сына героя и в короткие сроки забеременела.

— Не бойся, — гладила Лизонька полысевшую голову Борюсика. — Не бойся, мы будем жить с тобой! Ты же не против?.. У Исусика место только в общежитии!..

Как же он мог быть против?! Его семья вдруг увеличилась на двух человек.

Борюсик мечтал о внучке, потому что все знал о девочках, а о мальчиках — ничего. Он старательно готовился к новой роли, доставал с антресолей читанные-перечитанные Лизе книжки, ее любимые игрушки, цветастые платица, ленточки и складывал все в верхний ящик шкафа. Иногда он открывал его, наклонялся и вдыхал запах содержимого. Казалось, из ящика пахло малиной и парным молоком.

Беременная, Лиза сильно располнела и стала чем-то неуловимо похожа на мать Борюсика... А если будет мальчик?.. Мама бы знала, что с ним делать!

В один из июльских вечеров Борюсик и Лиза гуляли по Петровскому бульвару. Хесус все лето шабашил в колхозе имени Дзержинского, и отец с дочерью, оставшись вдвоем, радовались обществу друг друга. Он ей что-то читал из Байрона, она в ответ — те же стихи, только на английском... Тем вечером они немного загулялись и в одиннадцатом часу, взявшись за руки, потихоньку зашагали к дому. В самом конце бульвара из-за деревьев вышли два человека в клетчатых кепках. В тусклом свете фонаря в руке одного блеснуло лезвие ножа.

— Ну что, старая жирная тыква! — гыкнул второй, поменьше. — Пощекотать тебя ножичком?

— Гони кошель! — приказал первый. — Или девке твоей икру выпущу!..

У Борюсика денег с собой не было, он так и ответил бандитам:

— Денег нет. — Он задвинул Лизоньку за свою огромную спину и прошептал ей: — Беги!

— Ты че, гондурас, гонишь! Мы же тебя на куски сейчас резать будем!

Она побежала.

— Режьте!..

Двое с ножами двинулись навстречу.

Борюсик ни разу в жизни не дрался, но он шагнул вперед и завертел огромными руками будто ветряная мельница, приговаривая: — А ну-ка, а ну-ка!.. — Тяжеленной пудовой ладонью он попал маленькому по голове, отчего раздался нехороший звук, словно арбуз уронили, и безжизненное тело рухнуло в тополиный пух. — А ну-ка! А ну-ка!

— Пиздарики тебе на воздушном шарике! — прошипел второй урка и перебросил нож из одной руки в другую. — Пистон, ты жив?!

— ...

Лиза успела добежать до семнадцатого дома, где мел тротуар дворник-татарин. Раздалась трель свистка, призывая патрульную милицию. Из окон закричали:

— Милиция! Убиваюууут!!!

— Сука! — зло проговорил блатной. Он ловко ушел от ударов размахивающего клешнями жирного фраера, подсел под него и, вспоров живот Бо-

рюсика от лобка до средостения, скрылся в темноте.

Борюсик не упал, он стоял на ногах, поддерживая разрезанную плоть руками. Приехала милиция и «Скорая помощь», а он все стоял, словно умер стоя, а в затухающем сознании звучал голос Лизы: «Папочка! Папочка мой!!!»

Борюсик не умер. В Склифосовского ему сделали четыре операции, и лишь на десятые сутки хирург сообщил Лизе счастливую новость:

— Будет жить. Повезло товарищу детскому писателю, что в теле он был. Если бы жировая прослойка хоть на полсантиметра тоньше была, то нож несомненно бы попал в сердце...

Борюсик пролежал сначала в Склифе, затем в военном госпитале почти восемь месяцев. В общей сложности ему сделали шестнадцать операций. Возле его постели всегда дежурила Лиза, глядя небритые щеки отца. Очень часто заходили пионеры, и кто-то из писательского профкома раз в неделю приносил лимоны.

Борюсика стали поднимать с кровати, заставляя ходить по коридору. Шажок за шажком.

Как-то он увидел свое отражение в зеркале, но не узнал себя в худом костистом теле, в смертельно бледном лице с провисшей на щеках кожей. Подумал — привиделось... Через неделю писателя отвели на взвешивание, где его ждало потрясение. Вме-

сто привычных двухсот килограммов стрелка весов показывала какие-то семьдесят шесть. Он улыбнулся — весил столько в пятом классе.

Борюсику о рождении внука Иосифа рассказал зять Хесус:

— Она в Грауэрмана! Все в порядке! В честь товарища Сталина, что бы о нем ни говорили...

«Лучше бы Володей, — подумал Борюсик. Красиво бы вышло — Владимир Хуесосович».

Через неделю в палате появилась сияющая Лиза со свертком на руках. Она сильно располнела и чем-то стала походить на мать Борюсика.

— Ты, папа, пожалуйста, ешь больше, а то как же твои костюмы? А банты?.. Как же ему, — она улыбнулась свертку с сопящим младенцем, — пускать по твоему животу волны?

Море, море, море! Волны, волны, волны...



## МОНЕТА

*Моей бабушке*

Марлон Марленович Искрящий через два дня после рождения оказался ненужным матери и был подброшен к детскому приюту.

Мальчишечка родился черноглазым, несмотря на несколько дней от роду волосат, и плакал так музыкально, словно песни пел. На младенца даже нянечки с нижних этажей приходили поглядеть.

- Цыганенок! — предположила одна.
- Или арабчонок! — высказалась другая.
- А арабы разве поют?
- Все поют...

Сошлись все же на цыганском происхождении вокально плачущего ребенка и назвали беспомощное существо Чавеллой. Отчество давали по имени директора сиротского дома, и фамилию по нему же. Директор был грузином или грузинским евреем — кто здесь разберет. Таким образом в начале жизни произошел Чавелла Михайлович Датошвили. Так и в метрике записали. Но ненадолго.

Уже в полтора года красивому мальчику повезло. Его усыновила бездетная семья артистов цирка, работающих в большом постановочном номере эквилибристов и катающихся по всему необъятному

СССР. Честно говоря, идея об усыновлении принадлежала матери эквилибриста, так как ей давно было скучно и грустно. В силу возраста она не могла служить в цирке, а дома было одиноко.

Новая бабушка Инесс Искрящая, заслуженная артистка Якутии на пенсии, поглядев в метрику, твердо заявила, что мальчик будет отныне называться Марлоном, в честь американского артиста Брандо, отчество, соответственно, ему присуждается по имени отца — Марленович, а фамилией Искрящий, потомственной цирковой, завершилось формирование новых ФИО приемыша.

Через два года, когда мальчик прилично подрос, Инесс Искрящая предположила, как, впрочем, думали и в приюте, что ее внук цыганских кровей. Мальчик с черными сверкающими глазами испытывал живейший интерес к музыке и замирал, если по радио передавали песни советской эстрады, особенно когда диктор объявлял выступление артиста Сличенко с цыганским ансамблем: радовался, будто ему новый конструктор подарили.

— Чует своих! — рассказывала бабка подружке. — Кровь к крови!

Впервые его вывели на цирковой ковер в пять. Полгода мучили, мяли, тянули, подняли на лонже под купол цирка, откуда мальчика вырвало на дрессированных собачек-левреток, ну а потом вынесли вердикт: непластичен, вестибулярный аппарат ни к черту, моторика рук и ног обыкновенная, для

циркового дела не годен!.. Цыган, уверовала заслуженная артистка Якутии. Цыган сроду в цирке не было!

Бабушка Инесс ненадолго призадумалась, а потом решила, что у цирковых и у цыган много общего. И те и другие бродячий люд, зарабатывают душами, поющими от невозможности самовыразиться. На том ее сердце успокоилось, и к первому классу она подарила внуку семиструнную гитару, купленную в магазине музыкальных инструментов на Неглинке.

В школе Марлон учился крайне плохо, педагоги натягивали ему тройки, глядя на цыганенка с укоризной всем педсоветом. Зато по одному предмету тезка Брандо имел пятерку с плюсом, и понятно по какому. Учитель пения Сверчков нарадоваться не мог на мальчишку — таким чистым, слегка печальным голосом ученик пел пионерские и народные песни. Он даже пытался агитировать Инесс Искрящую отдать мальчика в интернат хорового пения, но та наотрез отказалась. Не для того усыновили!.. Бабка всем сердцем полюбила своего приемного внука, души в нем не чаяла и расставаться не хотела.

Учился Марлон отвратительно, зато гитару освоил в кратчайшие сроки, нотную грамоту узнавать не желал, сам изучил аккорды и замысловатые переборы. Уже к восьмому классу в длинноволосого красавца были влюблены все девочки школы, околдованные волшебным тембром Искрящего. Надо

признать, что некоторые практикантки из педагогического также не смогли остаться равнодушными. Одна из них, Варвара, подарила Марлончику, так она его звала вне школы, знания о приятнейших любовных утехах — и уроки практики в них внедрила. Как-то голых Варвару и Марлона застала в своей постели Инесс Искрящая. Бабка вовсе не была против сексуального образования внука, но соитий на кровати мужа, Семена Искрящего, продолжателя и новатора знаменитой цирковой династии, сорвавшегося из-под купола цирка и разбившегося насмерть пятнадцать лет назад, на их святом, незапятнанном супружеском ложе стерпеть не смогла. Практикантку с позором выгнали из школы и из института, а Марлон в отместку бабке проглотил ее кольцо с бриллиантом в пять карат.

Инесс была потрясена случившимся, заперла внука в комнате наедине с пустым ведром, надеясь, что физиология возьмет свое, но по прошествии двух суток в отходах человеческой деятельности ничего найдено не было.

— Где кольцо, изверг?! — допытывалась бабка.

— Не знаю, — отвечал на голубом глазу внук.

— Ты, засранец, на моих глазах его проглотил!

— Тебе показалось! Я не дурак железо и камни глотать!

Марлон и впрямь не глотал драгоценность, лишь вид сделал для Инесс, что сглотнул, а на самом деле затолкал языком взятое без спросу между зу-

бами и щекой. Кольцо было надежно спрятано до поры.

— Чавелла! — обозвала Инесс. — Не в бровь, а в глаз тебе имечко дали в сиротском доме. — Чавелла всегда Чавеллой и останется! Сколько ни корми Чавеллу — все равно в лес смотрит! Или не в лес, а в степь?..

Ни в какие институты Марлон не поступал, а предпочел работать лабухом в ресторане, где деньги текли в карманы рекой. Богатые престарелые женщины, жены высокопоставленных чиновников и барыг всех сортов млели от бархатного голоса длинноволосого итальянца, от его бесподобных рук с тонкими пальцами, которыми музыкант виртуозно перебирал струны. Марлон сам себя называл итальянцем, сыном известного тенора — не цыганом же... Некоторые старушки позволяли себе зазывать попеть юношу в загородные фазенды, и Марлон охотно соглашался, пел за серьезные гонорары, делал еще кое-что, заодно присматривая что-нибудь ценное, но небольшое, например цепочки золотые или кулоны, затем, случайно наученный Инесс, действительно глотал их и сбывал краденое в ломбардах. На него никогда не подавали в милицию из-за боязни потери репутации, а потому Марлон Марленович жил свободно и раскованно, в хорошей съемной квартире, куда пускал лишь одну женщину — Варвару, да-да, ту самую практикантку, которую он почти выгнал из своей жизни. Любил ли он ее — ту, которая

была старше на восемь лет? Видимо, да, если столько лет спал с ней. Но когда Варвара забеременела, Марлон велел ей сделать аборт. Женщина отказалась, и их отношения расстроились. Он не счел нужным объяснять спутнице столь радикальное свое решение. Просто сказал, что время их совместной жизни подошло к концу... Напоследок Марлон проглотил Варварин перстенок с первоклассным рубином, который сам же и подарил ей...

Когда Марлону исполнилось сорок, умерла Инесс. И вдруг оказалось, что Чавелла любил ее, сам того не подозревая. Не приемных родителей, а именно бабушку. Он плакал над ее остывшим телом, лежащим в семейной кровати Семена Искрящего, пока санитары не забрали ее навсегда. Марлон порылся в бабушкином шкафу, ничего ценного не обнаружил, нашел лишь какую-то серебряную монету в хрустальном бокале, которую в память об Инесс по обыкновению проглотил. Он решил, что монета всегда будет находиться при нем как память, но она куда-то запропастилась. Ну и грош ей цена, так как память — она в сердце.

Он не появился на похоронах. Ему не хотелось видеть родителей, которые были для него совершенно чужими, которые теперь могли выйти на пенсию, чтобы заселиться в квартиру заслуженной артистки...

Марлон продолжал лететь по жизни бессмысленной красивой птицей, живя лишь одним часом,

как будто будущего не существовало. Он по-прежнему пользовался успехом у женщин и без сожаления обносил, глотая ювелирные изделия в избытке и живя на деньги от их реализации.

Одно время он пел даже в цыганском театре «Ромэн», куда его пригласил сам Сличенко. Главный цыган страны, оказывается, хорошо помнил циркача Семена Искрящего, который управлял номером эквилибристов на смешанных эстрадных концертах. Сличенко, окруженный восхитительными цыганками, пел, а Семен без устали крутил ногами собственную жену.

В цыганском театре Марлон убеждал артистов и персонал, что он лишь похож на цыгана, на самом же деле он по рождению итальянец — так якобы было сказано в записке, заткнутой в одеяльце, в которое был завернут подкидьш. Никто ему не верил — рыбака рыбака видит издалека, но относились к его фантазиям с терпением, слегка жалея ветреного артиста. Ляли, Златы и Рады советовали сорокапятилетнему мужчине обзавестись семьей, ведь плохо дело может закончиться. Невыносимо цыгану без жены и детей, умрет от тоски цыган.

— Я итальянец! — настаивал Марлон.

Как-то вечером, во время спектакля, старейшая артистка театра застала его в своей примерной глотающим ее старинные фамильные серьги с огромными розовыми жемчужинами — подарок деда, известного цыганского барона Гозело. Марло-

на безжалостно выгнали из театра, а молодые артисты-цыгане напоследок избили мнимого итальянца, приговаривая «у своих не воруют», после чего Марлон Марленович пролежал в больнице две с лишним недели. С этого времени он частенько хворал: то ли почки повреждены были при избииении, то ли уже возраст усугубил последствия расправы. Он часто посещал врачей с различными жалобами, тратя свои небольшие сбережения. В те месяцы, когда здоровье позволяло, Марлон пел в маленьком ресторанчике на краю города, где его представляли как артиста театра «Ромэн». Он исполнял классические цыганские песни, получал чаевые и благодарил по-цыгански: «Найс тументгэ» («Спасибо») — единственное, что он выучил на родном языке.

В январе 1990 года Марлон почувствовал новое недомогание — в области кишечника. У него появились проблемы со стулом, да такие, что он на полчаса боялся выйти из дома. Промучившись месяц, страдалец вызвал врача, цыгану помяли отвисший живот и определили, что без колоноскопии здесь никак не обойтись. Врач выписал препарат, очищающий прямую кишку, и объяснил, что сейчас в клинике прекрасная американская аппаратура и понадобится девять минут, чтобы понять причину недомогания.

Процедура оказалась не из приятных, но уже на четвертой минуте исследования врач вскрикнул, как если бы ему гвоздь в мягкое место воткнули:



— Иди ж ты!!!

— Рак?! — с ужасом прошептал Марлон Марленович.

— Вот это да!!! — тарашил глаза в монитор врач. — Ну никогда такого не видел! Да здесь на статью научную наберется!

— Так плохо?

— Ну не поверил бы, если бы сам не увидел! — И развернул монитор к лицу обследуемого. — Это ж надо такое!

Пациент пялился в экран, но понять ничего не мог. Видел какие-то пузыри, еще какую-то розовую гадость. Он понимал, что это его кишка и что она, малоприятная изнутри, наверное, очень больная. Марлон тяжело вздохнул и тихо пропел строчку:

— Мииилаая, ты услыыышь меня...

— Видите? — спросил врач.

— А что я должен видеть?

— Да вот здесь же! — Доктор перевел курсор в правую часть экрана и укрупнил картинку.

И здесь Марлон Марленович увидел лицо девушки с распущенными волосами.

— Вижу, — ответил потрясенный артист.

— Что это?!!

— Это девушка в жо... Вернее, это монетка, которую я проглотил в молодости... — В это мгновение перед Марлоном пронеслась вся жизнь беззаботной бабочки-однодневки. В этой жизни отсутство-

вали любовь, друзья, и даже соплеменники не верили, что он итальянец. И было лишь одно светлое пятно — бабушка. Его Инесс Искрящая, балующая внука, окружившая неродное дитя любовью и нежностью. — Я ее проглотил, а она, видимо, застряла... Там...

— Вот оно как бывает! — радовался доктор. — А сейчас мы ее вытащим, коли она сама на свет попросилась. Слизистая ее поглотила когда-то, обволокла молодыми тканями, а сейчас, когда и геморройчик имеется — напрягаетесь излишне, и общая слабость организма... Вскрылась она, и никуда не денется ваша девушка! С помощью захвата я ухвачу ее...

Больно не было, и через несколько минут врач извлек из ануса Марлона монетку.

— Уан доллар! — прочитал колоноскопист. — Не слишком богатый в материальном плане улов, зато в научном!..

— А последствия для моего здоровья?

— Никаких! Все проблемы со стулом были из-за нее! Надевайте штаны и живите! — Врач вымыл денежку в спирте и передал пациенту. — Надо же такому случиться!..

Марлон спрятал монету в портмоне и продолжил свою жизнь. Безмятежность его существования исчезла, денег не хватало, женщины ушли в прошлое вместе с драгоценностями, и он вынужденно перебрался в маленькую съемную квартиру рядом

с местом работы, продолжив петь в ресторане за еду и чаевые от клиентов.

И тут пришла внезапная помощь. Оказалось, что супруги Искрящие, его приемные родители, в течение двух лет друг за другом умерли по веским причинам, оставив ему двухкомнатную квартиру, которую он тотчас продал и все имущество из нее реализовал.

В переломанной стране стало совсем серо, страшно и тоскливо. Марлон, переведя деньги на счет товарища по театру цыгана Ромы, эмигрировавшего из СССР пару лет назад, посетил Соединенные Штаты, где попросил политического убежища. Он быстро его получил, так как исторически на цыган устраивались гонения и уж слишком мало осталось братьев по крови, впору в Красную книгу заносить.

А вот цыган Рома, подлец, денег не отдал, не признал в Марлоне товарища, поступив как истинный представитель своей национальности. Судебных перспектив не было, и Марлон остался жить в незнакомой стране на крошечное пособие.

Он быстро старел и часто болел. Иногда его брали попеть в армянский ресторан, для работы в котором ему пришлось выучить наизусть песни на чужом языке. Припухшие пальцы уже не могли так ловко перебирать струны, как в молодости, да и бархат голоса истерся, истончился.

— Ов, сирун, сирун, инчу мотецар, — пел пожилой цыган, не знающий родного языка. — Сытыс гахтники инчу имацар...

В один из вечеров ему пришлось петь при пустом зале. Клиентов не было, и хозяин с огромным мясистым носом, из которого произрастал дикий лес, разрешил Марлону пойти домой, но артист вдруг исполнил невероятной красоты итальянскую песню «Alta Morgea» — «Высокая волна», — и столько грусти он вложил в ее исполнение, не итальянской, не цыганской, а грусть души своей заключил в простые слова... Хозяину ресторана вдруг показалось, что он в Армении, в родных горах, где пахнет счастьем и овечьей шкурой. Армянин пустил слезу и подарил Марлону кусок бастурмы...

Он узнал ее на входе в метро — Варвару, практикантку из юности, ту, которую когда-то прогнал. Сначала шел за ней, спускаясь по лестнице, рассматривая немолодую женщину со слегка согнувшейся спиной, с пакетами в руках. Она прошла через турникет, а он, судорожно порывшись в карманах и не найдя жетонов, вспомнил, что у него в портмоне имелся на экстренный случай один, который и достал, чтобы пройти в подземку.

Марлон догнал ее и окликнул:

— Варвара!

Она обернулась и долго всматривалась в лицо пожилого седовласого человека с черными глазами.

— Марлон? — Она поставила пакеты на холодный пол. — Это ты, Марлон?

— Я, — ответил он.

— И зачем ты здесь?

— Да вот как-то... А ты?

— И я как-то... — Она смотрела на него приветливо, а он ожидал неприязни с ее стороны, приготовился к ответному удару судьбы. Но вместо этого женщина сказала: — Я рада видеть тебя, Марлончик!

Они вышли на Четырнадцатой улице, где жила Варвара. Сели в китайском ресторанчике и говорили долго, вспоминая юность, делясь событиями своей жизни. Он врал ей, что ему дали «заслуженного артиста РСФСР» от театра «Ромэн», а Варвара, в свою очередь, рассказала, что вышла в Москве замуж за итальянца, который усыновил ее ребенка, дав свою фамилию, тем более что она назвала мальчика итальянским именем Франко, в честь великого оперного режиссера Франко Дзефирелли. Сейчас сын вырос и поет в Нью-Йоркской опере. Правда, не первые партии. Его полное имя Франко Пирелли...

Марлон понял, что Варвара сейчас рассказывает ему о его сыне... Он на минуту вышел в туалет и поплакал, затем, высморкавшись, умыв лицо, вернулся за столик. Варвара, взглянув в покрасневшие глаза бывшего любовника, все поняла, но сделала вид, что не заметила, и заказала кофе.

— Твой сын знает о тебе. Я никогда не скрывала от него, кто его отец.

— Спасибо...

Варвара попросила официанта принести счет, Марлон попытался расплатиться чеком, но вялая

толстая китайка словно робот ответила, что «ноу чек, ноу фуд стемп». Варвара дала карточку и, ожидая транзакции, сказала:

— У тебя есть маленький внук.

Старый цыган поглядел в потолок, словно в небо, откуда на него щедрыми пригоршнями сыпалось счастье.

Он улыбнулся:

— Как его зовут?

— Марлон, — ответила Варвара. — Но не в честь тебя, не надейся! В честь актера Марлона Брандо. Марлон Пирелли. Твои потомки — итальянцы, как ты и мечтал! Кстати, мальчик учится играть на гитаре.

Он отважился и спросил:

— Можно мне их увидеть?

Варвара подписывала счет и что-то прикидывала в уме:

— Наверное, да... Правда, сын послезавтра уезжает в турне по Азии, но внук всю зиму в Нью-Йорке. Оставь свой телефон, я наберу тебя, как время будет...

Той ночью у Марлона случился инфаркт. Его везли на «Скорой помощи», а он пытался объяснить на ломаном английском, что у него в портмоне есть уан доллар, он хочет, чтобы в случае его смерти монету передали внуку, гранд сану... Ему обещали, а в приемном покое врач обыскал портмоне и сказал, что есть только десять центов и карточка страхования. А больше ничего...

Вероятно, я потерял ее, думал в реанимации Марлон с торчащей в горле трубкой. Потерял в который раз. Сознание его путалось, он его старательно удерживал, переживая встречу с Варварой... Но память — она в сердце, а разве можно внуку сердце оставить, тем более поношенное. Цыган хотел было рассмеяться, но трубка из аппарата, помогающая ему дышать, помешала, смех хрипом вышел.

Его держали в больнице месяц, хоть и мечтал он поскорее из нее выбраться, чтобы Варвара ему дозвонилась, а он бы объяснил, что не сбежал от нее на этот раз, просто такие обстоятельства произошли.

Накануне выписки он смотрел в холле больницы телевизор, вернее, слышал его, а сам представлял себе другие картинки — идиллические: как он в окружении большой семьи играет вместе с внуком гитарный дуэт и учит его итальянским песням. А потом он увидел свою монету... На экране телевизора. Ведущий «60 минут» рассказывал о необыкновенной находке в нью-йоркском метрополитене. В банковском хранилище подземки, куда свозилась вся недельная выручка, среди жетонов обнаружили самую ценную в мире монету — «Девушку с распущенными волосами», предварительной стоимости от пяти до двенадцати миллионов долларов.

— Это моя монета! — тихо сказал Марлон. — Бабушки Инесс Искрящей монета!

Его никто не услышал, а диктор рассказал, что была попытка найти хозяина столь ценной монеты,

но, к сожалению, отпечатков пальцев на «Девушке с распущенными волосами» не обнаружилось и, значит, идентификацию провести невозможно. Вероятно, монета будет продана на аукционе, а деньги от выручки пойдут в благотворительный фонд подземки.

Подошла очередь Марлона на выписку. Его катили на кресле, а он улыбался и думал, что украденная у Инесс монета была платой в будущее, за его сына и внука, которых он скоро увидит... Ему дали на подпись финансовые бумаги с перечнем оказанных медицинских услуг и их стоимостью. Попросили, если все правильно, поставить на финансовом документе подпись. Он кивнул и напротив галочки написал по-русски «Не согласен», а сам подумал, что пусть теперь за него метрополитен платит... И, счастливый, покатился к выходу, напевая:

— Мииилаая, ты услыыышь меня...



## ДЕСЕРТ

Он посещал этот фитнес-клуб уже четыре года. С момента его открытия. Ему было удобно заниматься спортом рядом с местом жительства. Ходил три раза в неделю, сначала брал инструктора, затем занимался самостоятельно, держа себя в отличной форме. Для своих тридцати пяти лет он выглядел прекрасно — задел детских лет и юности, когда он активно занимался боксом. Укрепила тело и дух армия, в которой он отслужил в спортивной роте, затем, дембельнувшись, некоторое время с друзьями детства тряс лоховские бизнесы и чуть было не стал профессиональным бандитом...

Когда ему исполнилось двадцать три года, прямо в день рождения, его отца избили какие-то неизвестные «спортсмены», отобрав у пятидесятилетнего мужчины сто долларов. Гоп-стопщиков нашли, привезли на контролируемый бетонный завод, поставили их ногами в тапки как в банные шайки, а потом залили бетоном и одного за другим сбросили с баржи в реку. От ужаса приговоренные хрипели, лишь один лысый качок с цыганской серьгой в ухе улыбался распухшими от побоев губами. Чему он там улыбался — непонятно. Хотели спросить, но

передумали, и уже через мгновение качок нырнул солдатиком в темные воды и, присоединившись к своим товарищам, стоял в их компании мертвым следующие десять лет, пока кости не растворились. Их расслабленные тела колыхались в течении реки, словно водоросли, рыбы в этих местах было видимо-невидимо, и раки огромные, а ноги, связанные хорошим бетоном, твердо стояли на речном дне.

Он неожиданно выскочил из преступных дел и одним днем уехал в Великобританию, вывезя с собой неплохие деньги, изъятые у граждан России силой. Он нанял себе учителя английского плюс спал с длинной рыжей ирландкой и по вечерам пил пиво в пабах с местными футбольными фанатами-нацистами. Уже через год он отлично говорил по-английски, еще столько же потратил на подготовительные курсы и поступил в Эдинбургский университет на факультет бизнеса и менеджмента, который окончил третьим на потоке и был приглашен в рекламную компанию BBDO, где успешно проработал три года, после чего вернулся в Москву классным специалистом.

Время бизнеса в новой России только начало свой отсчет, и он легко открыл собственное рекламное агентство, которое в короткие сроки вышло на лидирующие позиции, несмотря на то, что уже тогда имелись конкуренты. Не доморощенные российские, конечно, но те же британские Saatchi & Saatchi,

DDO и его родная BBDO. Он с британцами дружил, но, зная российский менталитет, понимая, как в этой стране все устроено, куда надавить, кого испугать до обсе́ра, оставил своим конкурентам лишь их классических западных клиентов с адаптированной для россиян рекламой. Сам он имел семьдесят процентов рекламного времени на главных каналах ТВ и через пять лет заработал почти миллиард, вовремя выскочив из государственных казначейских облигаций, которые в один день девяносто восьмого обесценились до нуля. Тогда много богатых людей в одночасье стали опять нищими и злыми, а потому на компанию постоянно наезжали бывшие миллионеры, пытаясь оторвать от нее куски. «Нищие и злые — уже почти мертвые», — говорил он начальнику своей охраны... Люди в те годы исчезали тысячами, волки жрали волков, а менты — выживших волков. Кстати, ментов тоже резали волки.

Через пару лет ситуация слегка успокоилась. По-настоящему богатые люди объединились ментально и сблизились с Президентом страны. Самые умные восприняли предложение первого лица о равноудаленности олигархов от бизнеса как нота бене, а те, кто пропустил сие мимо ушей, горько заплатились.

Лишь в начале нулевых в Москве реально появились неплохие рестораны, а богатые начали строить свои роскошные особняки. Постепенно откры-

вались элитные фитнес-клубы, в один из которых стал ходить рекламный и телевизионный магнат.

В пятничный день он начинал заниматься спортом в семь утра, чтобы к девяти успеть в офис. Народу в такой час было совсем мало, он растянул возле стены резиновый коврик и первые пятнадцать минут тянул мышцы, чтобы потом перейти к упражнениям на перекладине. Железа он не терпел, работал только со своим весом. Потому был очень сильный — жилистый, похожий на металлическую арматуру.

Он почувствовал ее спиной, всем телом, всеми органами. Ноздри зашевелились, как у собаки-ищейки, а мышцы словно от удара током сократились так, что он выпустил перекладину из мигом вспотевших рук и спрыгнул на пол. Обернувшись, увидел ее. Она тоже смотрела навстречу — словно лягушка на гадюку. Она действительно чем-то была похожа на лягушку. Большим и сочным ртом, наверное. Шатенка со светлыми глазами, сложенная из прекрасных генов родителей-балерунов, двадцать лет назад эмигрировавших в США, уже не юная, но и не слишком зрелая. Ее грудь выпирала из-под обтягивающей майки, и даже топ под ней не мог скрыть твердых сосков. Она по-прежнему стояла как вкопанная, а он все смотрел на нее неотрывно, пока их обоих не затрясло.

Он впервые испытывал такое всепоглощающее чувство желания обладать ею здесь и немедленно. Даже в семнадцать лет, когда океан половой энергии выплескивался на лицо прыщами, даже тогда ничего похожего не случилось... Он продолжал смотреть на нее, а потом указал взглядом на дверь тренерской комнаты — иди туда! И она пошла, вздернув голову, взмахнув волосами, запах которых ударил по рецептарам носа — он даже на вкус его почувствовал... Он вошел следом, подпер ручку двери стулом, молча подошел к ней и глубоко, до самых корешков легких вдохнул запах волос, затем повернул ее к себе спиной, одним движением стащил с задницы легинсы вместе с трусами — она лишь прошептала: «Только не рви», — взял за шею, грубо наклонил и погрузился в нее с первобытной силой. От неожиданной эмоции она пыталась кричать, стонала, извиваясь бедрами, а он плотно зажимал ей рот большой ладонью. Ему казалось, ее тело создано именно для его тела, что соединения плоти настолько невероятны, а импульсы так синхронны, что когда пришло время взорваться всей своей вселенной, он с невероятным трудом удержался от победного рычания бешеного самца, а она в своем последнем порыве укусила его в ладонь с такой силой, что кровь потекла струйкой к предплечью.

Они еще несколько минут стояли и просто успокаивали дыхание. Ее легинсы с трусами оста-

вались на шиколотках, и он хорошо рассмотрел ее покрасневшие твердые ягодицы... Он щелкнул пальцами, выводя ее из оцепенения, она в одно движение вернула одежду на место, а он уже вышел в зал и разговаривал с кем-то...

Старший тренер пришел только к десяти, когда он уже полтора часа как сидел на переговорах с «Крайслером», а она, вернувшись домой и закрывшись в спальне, отчего-то рыдала до самого вечера... Выпускник физкультурного института, чемпион России по пауэрлифтингу Виталий вдохнул воздух в тренерской и подумал, что на его рабочем месте совокуплялись по меньшей мере сто человек. Гормоны страсти были столь густо растворены в замкнутой атмосфере, что молодой спортсмен лишь выдохнул: «Ни хера себе!» Еще он подумал, что здесь случилась групповуха, и рассердился почему-то, хотя в комнате сохранился полный порядок. Помимо мужского следа он чувствовал женский и, будучи геем, злился все больше. Спроси его, на что он злится, он бы не смог внятно ответить...

Они встретились в тот же час через день. Он лишь коротко взглянул в ее светлые глаза, и она тотчас отправилась на место их прошлого свидания. Когда он вошел, она стояла лицом к стене. Он подошел и коснулся языком ее шеи. Этого было достаточно, чтобы ее женское начало взяло верх над женским разумом. Она повернулась, вздернула его

майку вверх, обнажив плоский живот, и стала стаскивать с него шорты. Он тоже шепнул: «Не порви», — она ответила: «Ага», — и то, что делал далее лягушачий рот, не позволяло ей кричать... Ее страсть была столь неистовой, а его чувствительность такой запредельной, что он не выдержал и минуты. Ей будто вложили в рот дуло пистолета и несколько раз выстрелили. А потом он, так же как и в первый раз, содрал с ее задницы легинсы с нижним бельем... Она вновь кусала его ладонь до крови...

В течение двух месяцев они встречались три раза в неделю — в то же время, в тот же час. Они не спрашивали имен друг друга, тем более не интересовались чем-то еще, не связанным с сексом. Одни междометия, короткие приказы типа «тише», вопросы «Не больно? Так хорошо?», и один раз она случайно сказала ему: «Спасибо».

Они не интересовались друг другом вне тренажерного зала, не наводили справок, кто да что — настолько их отношения казались полными, не загрязненными информационными данными. Им удавалось скрывать свои любовные радости от немногочисленных посетителей зала и персонала. Только старший тренер Виталик сваял дурака. Его так бесило, что во вверенном для его нужд помещении кто-то постоянно трахается, что он, нанюхавшись феромонов, установил в тренерской скрытую камеру. Запись вышла хорошего качества, со звуком,

и Виталик без труда идентифицировал нарушителей. Пересматривая видео, он сам заразился неподдельной страстью, но хотел его, а не ее. Тренер поинтересовался персоной мужчины на ресепшен, где ему ответили, что это какой-то богатый чел. Сильно богатый... Виталик принял роковое для себя решение. Передав копию записи клиенту в зале, он потребовал у него сто тысяч долларов за неразглашение пикантной информации, пригрозив, что, если его просьбу не удовлетворят, передать порно таблоидам, у которых выкупать его будет куда дороже.

Ночью пауэрлифтера вытащили из постели съемной квартиры. Острым лезвием ему подрезали правый ахилл, после чего Виталик отдал все компрометирующие материалы. Тем же самым лезвием ему ловко сделали надрез на сонной артерии. Он даже не почувствовал боли — просто неожиданно кровь забила фонтаном, и Виталик, хватая ртом воздух словно рыба на берегу, в течение двух минут крепко заснул навсегда.

Рекламный магнат вовсе не хотел убивать какого-то там паршивого тренера — он дал задание лишь изъять компромат и сделать наставления молодому человеку, типа в ебло дать, но направленные на это дело чеченцы решили сделать заказчику подарок, рассчитывая на будущие заказы, и халяжно зарезали Виталика. Чеченцев после этого отвезли



на бетонный заводик, оставшийся у друзей с давних пор, и по старой схеме отправили в тазиках на дно реки. Перед смертью им объяснили, что нечего людей без необходимости резать, даже гомосеков, а подарков босс не любит, потому так все и сложилось для небритых жителей кавказских гор. Без обид.

Еще месяц после трагической гибели чемпиона России они использовали тренерскую не по назначению, а новый старший инструктор услужливо подавал ключ, чтобы не было нужды подпирать дверь стулом. За сметку и лояльность ему были подарены дорогие спортивные часы...

В одно из свиданий он сказал ей, что поесть хоть и вкусный, но один и тот же десерт, с одной и той же начинкой, в походных условиях не лучший вариант. Десерт быстро может надоест.

Этим же вечером они ужинали в ресторане, она узнала, что его зовут Сергей, а он, услышав ее имя, сказал:

— Пойдем-ка, Кристина, со мной...

Они использовали друг друга в роскошной туалетной комнате, вход в которую охраняли его люди. Смена обстановки, другие ракурсы, отражения в зеркалах так завели обоих, что уже после, за столом, они съели по два основных блюда и попробовали почти все десерты.

— Ты кто? — спросил он, раскуривая сигару.

— Я? — переспросила она. — Сам-то кто?

— Ты борзая, — поморщился он.

— А ты прямой, как Ванек деревенский! — ответила она.

Он вновь едва заметно поморщился:

— Сейчас тебе вызовут такси. — Глаза его погасли, взгляд стал жестким и одновременно безразличным.

— Я уеду навсегда, — предупредила она.

Он подозвал охранника:

— Саша, девушка уезжает на такси навсегда. — И отвернулся к окну, из которого открывался прекрасный вид на ночную Москву...

Он старался не думать о ней. Собственно говоря, и не думал, но его тело, желающее и беспокоящее, мешало работать. Трудно было сосредоточиться на крайне важных делах... «Пошла в жопу!» — подумал он и велел арендовать на ночь новый модный стрип-клуб, накрыть поляну и нагнать помимо стриптизерш-моделей из «Ред старз».

Он сильно набрался в ту ночь, перепробовал самых красивых приглашенных девушек, забавлялся с четырьмя сразу, а когда от готовых к совокуплению вагин у него зарябило в глазах, приказал:

— Стоп!

Проснулся около двенадцати дня, с приличным похмельем, сквозь которое пробивалось призрачное очертание голой Кристины.

— Пошла в жопу! — произнес он в голос.

Дверь в спальню приоткрылась, и выглянувшая голова поварихи в советской кружевной наколке в волосах, заискивающе улыбаясь, спросила:

— Сергей Андреевич, завтрак подавать?

— Пошла в жопу! — заорал он и после того, как красные щеки дородной кухарки исчезли, принял контрастный душ, случайно подумав, что Кристину на фоне мокрого каррарского мрамора он разобрал бы на части. Еще он понял, что ни разу не видел ее голой груди — только сжимал ее, протискивая руку под плотную майку. Тело завибрировало так отчаянно, будто не было вчерашней ночи с десятками сисек и задниц, с нескончаемыми соитиями.

Он умел брать себя в руки и приказал мозгу не вспоминать о ней. Через час он всецело был поглощен новым контрактом с китайцами, а после позднего обеда покупал у арт-дилера двух Айвазовских для бассейна только что достроенного загородного дома с лесом и собственным озером. Он реально не вспоминал о ней.

Зато образ его великолепного тела и жестких глаз преследовал ее, и она отчаянно злилась на себя. Не ела сутки, пила «Просекко» бутылками — и вдруг вспомнила своего красавца мужа Строгова, которого вместе с отцом застрелили четыре года назад, когда они выходили из Сандуновских бань. Против этого парня из фитнеса муж бы не покати,

хотя сам был отличным мастером. До недавнего времени она считала покойного лучшим любовником в своей жизни. Но не теперь.

Кристина забралась в горячую ванну и вспомнила запах мужчины, назвавшегося Сергеем. Ее рука потянулась к шкафчику, откуда тонкие пальчики с вишневыми ноготками выудили старого доброго друга на батарейках, который никогда не подводил. Она его называла «мой добрый Реббит»... В этом случае Реббит оказался лишь бесполезным куском композитного материала, напряженно гудел и вибрировал, не вызывая никаких чувственных ощущений, кроме раздражения. Она выудила «кролика» из воды, швырнула из ванны на пол и сочно выругалась...

Они оба купили абонементы в другие фитнес-клубы, чтобы не пересекаться. Но судьба со своими закидонами свела их вновь. Он и она приобрели карты одного и того же зала — и через пять минут закрылись в помещении для индивидуальных тренировок. Он нажал на клавишу «play» на музыкальной системе, вывел громкость на полную, и следующие полчаса оба орали как умалишенные. Он увидел ее полную грудь, которая от возбуждения поднималась сосками к самому небу. Еще он ощутил впивающиеся в его ягодичы кошачьи когти...

Когда они закончили, она хотела сказать что-то, но он на желание отреагировал молниеносно, при-

казав «Молчи!», зажал ей рот рукой и быстро проговорил:

— Я не ценю женщин и не дорожу ими. Если ты еще хоть раз что-то попытаешься из себя строить... Понятно?

Она кивнула, он отпустил ее и вышел из зала.

Через день они встретились у него в городской квартире, где под струями душа на фоне драгоценного каррарского мрамора вжимались друг в друга с такой страстью, так стонали оба, что повариха с советской наколкой в волосах случайно откусила кусок от сырого стейка и жевала его как хищное тупое животное.

Потом они обедали, она сказала, что любит море и морепродукты, шампанское с черной икрой и классическую оперу.

— Я лечу на выходные в Ниццу, — ответил он. — У меня там яхта. Полетишь?

Она кивнула.

— Я могу... — попыталась сказать девушка, но он ее перебил:

— Не можешь. Говори только то, о чем положено говорить девочкам.

— О чем?

— О том, что ты любишь!

Она была раздражена, что на лодке оказалось много гостей и девиц-моделей, с которыми он по долгу болтал о чем-то, смеялся, разглядывая их го-

лые грудки, а потом переходил к мужчинам, которых назвал своими друзьями. Он просто представил ее им как девушку Кристину, и все. На ее статус он не намекнул.

Он спал с ней в роскошной каюте, на кровати с соболиным покрывалом, пользовал ее, а она его, пока силы не оставили обоих. Он отправил ее спать в гостевую каюту, на что она не просто обиделась, но разозлилась до такой степени, что рычала, словно дикая, выла от обиды оттого, что поймалась, как насекомое на сладкое, на символ его плодородия.

На следующий день она вышла только к обеду, когда все уже сидели за столом. Лодка шла неспешно, и стабилизаторы делали свое дело — не качало. Кристине отвели место среди моделей, отчего лицо ее сделалась багровым, а он смотрел на нее жестким и безразличным взглядом.

Она садиться не стала, ушла на нижнюю палубу и через несколько минут появилась абсолютно голой, с каким-то коктейлем в руках. Английская команда лодки повидала всякое, а потому не обращала внимания на новенькую... Девушка фланировала вдоль стола, словно находилась в полном одиночестве.

Он расхохотался и сделал объявление:

— А сейчас стриптиз от Кристины! Я правильно имя назвал?.. Только не вульгарно! И танцуй на сцене!

Она подошла к нему с лицом, искаженным ненавистью, и разбила о голову рекламного магната бокал с остатками мартини и вишенками... Ситуацию мгновенно замяли, и через пять минут на маленькой сцене пел павлиновый Киркоров, а потом Влад Сташевский.

Под выступление Валерии он спустился на нижнюю палубу и, найдя девушку, крепко обнял, больно сдавив грудь, потом выдохнул — и выкинул за борт, прямо в бурлящую от мощных лопастей винтов воду.

— Плыви, — сказал вдогонку. — Или не плыви...

Двенадцатилетний Вася Строгов, курсант Суворовского военного училища, не мог знать, что остался полным сиротой. Лишь через пять суток ему сообщат, что мать утонула в море, он было заплакал, сдерживая крик, но мудака прапорщик приказал отставить рев и строевым шагом отбыть на обед:

— Между прочим, курсант Строгов, сегодня на десерт вареная сгущенка!..

## БЛАД

— Сереженька, я так боюсь умирать! — проговорил он. — Очень боюсь... — По его щекам, глубоким морщинам стекали мутные слезы. — Как вы думаете, там что-то есть?

Сереженька был на пятьдесят лет моложе умирающего старика, а потому никогда особо не задумывался о потустороннем мире, но он был добрым молодым человеком и ответил убежденно — так, как учили в театральном училище, которое он окончил десять лет назад, — по Станиславскому:

— Конечно, есть! Даже не сомневайтесь, Наим Ионович!

Старик повернул к нему большую костистую голову, пошамкал вставными челюстями, издавая пластмассовые звуки:

— Вы не знаете... Никто не знает... Может, раввина позвать? — У него были серые губы. — Кстати, вы знаете, кто такой раввин?

— Нет, — честно признался Сереженька.

— Да и откуда вам знать про это — русскому мальчику! Раввин — это очень образованный человек, служащий еврейского религиозного культа. Он знает все, что будет после. Да и то, что было до.



— Конечно, надо позвать! — поддержал артист. — Вы, профессор, мне только его телефон дайте, а я приведу!

— Но у меня нет знакомого раввина! Я никогда не был в синагоге.

— Где, простите?

— Если бы я туда ходил, меня бы в советские времена выгнали из театрального училища и выезд за границу бы закрыли. А у меня там книги печатались! В Италии...

— Хотите попить? — предложил Сереженька, взял с подоконника баночку кока-колы, вскрыл ее и всунул в рот профессору трубочку.

— Да, я люблю это, — признался умирающий и жадно втянул напиток. — А знаете, когда я ее впервые попробовал?

Нет, — ответил Сереженька, глядя, как коричневые капельки теряются в кустистой то ли бороде, то ли щетине. — В Италии?

— Именно, в шестьдесят втором году. — Он сделал еще пару глотков и, рыгнув, вновь сказал: — Я так боюсь умирать...

Сереженька познакомился с Наимом Ионовичем Гронским, когда поступил в театральное училище на актерский факультет. Им представили профессора, который был призван обучать студентов Мельпомены истории изобразительного искусства. К этому времени они уже отучились два месяца, и ИЗО им все это время преподавала доцент Лялина-

Вялина, прозванная воблой, так как профессор Наим Ионович, по слухам валютный миллионер, временно находился в Италии, где у него одна за другой выходили книжки о великих художниках и памятниках мировой архитектуры. В то время железного занавеса Наим Ионович казался будущим артистам небожителем. О нем рассказывали всяческие невероятные легенды как о прожженном сердцееде, как о богатейшем человеке в СССР, который изредка приглашал самых красивых студенток в валютный ресторан, где расплачивался долларами.

— Долларами! — произносили шепотом.

Студентки, удостоившиеся такой чести, охали и ахали, шепчась между собой, что костистый, с проплешиной на макушке, бородатый старик с трехъярусным носом, мясистый кончик которого лежал почти на губах, совсем и не старик, а приятный солидный мужчина. Но с одним недостатком, а именно — с женой Соней, злой и дерзкой старухой, которая, как сплетничали, могла даже побить Ионыча за шуры-муры со студенточками. Говорят, такое уже бывало, например когда она застучала супруга в его мастерской на Маяковке с выпускницей, редкой красавицей Сапуновой — а-ля народная артистка СССР Борисова в молодости, — распивающими валютный растворимый кофе... После того случая пришлось в мастерской делать ремонт. Сапунова уверяла, что у нее ничего с педагогом не было, что он ей только жаловался на подозритель-

ность жены, на непростую супружескую жизнь...  
А в этом смысле... ни одного намека...

Студенты театральных вузов мало тяготеют к образованию, всецело поглощенные изучением актерского мастерства и других сопутствующих дисциплин, таких, как танец, фехтование и сценическое движение. Общеобразовательными предметами богемное большинство манкировало, посещали их только профнепригодные студенты, которым мало что светило в актерской профессии и надо было вливаться в жизнь за счет хороших знаний. Такие обычно становились в театрах комсоргами, а затем парторгами. Конечно, к Лялиной-Вялиной, к вобле то есть, на ИЗО никто из талантливых не ходил, что ей, впрочем, было по барабану, а вот на пары Гронского являлись даже самые конченные дебилы. Студенты так охотно в театр не ходили, как на лекции Ионыча, зная, что на любом уроке может случиться нечто из ряда вон.

Всегда поражало то, что мифологизированный старик неизменно появлялся на занятиях в безупречном костюме-тройке, неся аромат Франции, с горбатой трубкой, выпускающей в атмосферу запахи неизвестных дымов капиталистической жизни. В институте курить было категорически запрещено, но Гронского, ученого с мировым именем, это не касалось. Скрываясь за облаком табачного дыма, профессор приносил в небольшом кожаном футляре на занятия собственный слайдоскоп, его

осторожно вынимали и устанавливали профнепригодные отличники. В зарубежный аппарат можно было поместить аж сто рамок с кадрами, и управлялась машинка дистанционно, с помощью длинного шнура и пульта на конце. Никто даже в фантастической литературе о такой аппаратуре не читал, особенно потрясены были студенты с периферии. Шторы в аудитории закрывались, на стене раскатывался белый экран, и слайдоскоп включался, издавая легкий звуковой фон японской аппаратуры. Надо еще отметить, что Наим Ионыч обладал истинно странным голосом: казалось, он специально сдавливал связки и произносит слова, словно бляя, как козел, которому связали морду. Поначалу это казалось забавным, даже смешным, но все быстро об этом забывали, рассматривая на экране изображения памятников истории и культурного наследия. Конечно, на переменах Ионыча пародировали все кому не лень, но всегда по-доброму, рассказывая голосом профессора какой-нибудь анекдот.

— Товаарищи штуденты, — с шепелявинкой начинал Ионыч комментировать первый слайд. — То, что вы наблюдаете, называется афинский Акрополь. Возле самой верхней арки, — он тыкал указкой в экран, — видите маленькое пятнышко?.. Это моя жена Соня!..

У всех перехватывало дыхание. Значит, он сам фотографировал Акрополь, коли на фото его жена, значит, он там был!!! И старуху жену вывез!.. В Грецию!!!

Ионыч мог запросто проделать с аудиторией курса такую штуку. Щелкнув переключателем, выводя отражение очередного слайда, на котором, например, был изображен сфинкс, он пояснял:

— Товаариши штуденты! Эта штуковина установлена в Ленинграде! Причем в разных исполнениях таких штук много. Кто скаажет, что это такое, получит пятерку по госэкзамену вперед и будет освобожден от посещения моих лекций на время вашего нахождения в стенах этого достойнейшего училища...

Конечно, к потолку взлетал частокол рук. Все хотели испытать судьбу.

— Пожалуйста, штудент Контиков, — приглашал Ионыч. — Мы вас слушаем.

— Наим Ионович... — напрягался Контиков, главный комик курса. Сейчас он был абсолютно серьезен, так как его правильный ответ мог бы принести первую в жизни оценку выше тройки. — Это, Наим Ионович... Это лев! Нет, я бы сказал — грозный лев!

— Неправильно, штудент Контиков. Садитесь... Кто еще попытается нас образовать?.. Ну, пожалуйста, студентка Петрова, пытайтесь!

— Кошка? — вопрошала русская красотка Петрова с низким тяжелым задом, приехавшая из Нижнего Новгорода. — Киса?

— Неправильно, — бляял Гронский. — Еще версии?

Предположений было множество, но все они оказывались неверными, пока Ионыч не предоставил попытку студенту Кривинскому, самому боль-

шому таланту училища, хроническому алкоголику с двенадцати лет, который, судя по его развитию, окончил максимум начальную школу. Зато он мог играть само просветление Эйнштейна в момент его великого открытия. Кривинский стоял расправив плечи, и весь курс наблюдал, как в его мозгах происходит финальная часть мыслетворения.

— Гений! — прошептал кто-то.

— Наим Ионович... Товарищ профессор... Знаете, что это?

— Не тяните кота за яйца...

— Лучше их отполируйте! — сдохмил кто-то с заднего ряда.

— Наим Ионович, это...

— Ну!

— Это... копилка!

Таким истинно правильным казался его ответ, с таким подтекстом, будто он здесь же доказал теорему Ферма, и курс, прежде чем заржать на все здание, несколько секунд заворуженно внимал новому Качалову.

— Штудент Кривинский, — незамедлительно подвел черту Ионыч, пробившись сквозь животный хохот. — Штудент Кривинский получает на госэкзамене пятерку и может не ходить более ни на какие мои занятия!

Таким был их профессор по ИЗО. Все знали, что слово он сдержит, за то уважали — и за юмор ценили.

У Гронского имелись любимчики. В их число входил и Сереженька, вдруг оказавшийся внуком старинного товарища Ионыча, с которым тот частенько прогуливался по Покровскому бульвару, пыхтя трубкой. Дед будущего артиста Федор в ответ пускал струи дыма от сверхдлинных сигарет «Ява-100», и оба были чрезвычайно довольны друг другом. Педагог по ИЗО и товарищ по прогулкам когда-то жили в одном доме, почти тридцать лет...

Подтверждением того, что ты попал в любимчики, было приглашение в мастерскую, где бывали единицы, в основном студентки. Таким образом, за тесную товарищескую связь его деда с профессором Гронским Сереженька стал вхож в домик в переулке на Маяковке, где имелся небольшой яблоневый садик. Здесь, окруженный настоящими картинами и предметами старины, он впервые попробовал знаменитый валютный растворимый кофе, к которому была приложена упаковка шоколадных вафель из Финляндии.

Избранный жевал иностранные вафли, запивая крепким кофе, и почти плакал от несоветского вкуса продуктов.

— А вы знаете, Сереженька, что здесь давеча произошло?

Сереженька помотал головой с набитым вафлями ртом и проговорил нечленораздельно:

— Ы-ы!

— Представляете, звонит мне вчера штудентка Сапунова и прямо-таки рвется прийти ко мне

в мастерскую. Я говорю: конечно, заходите, Ирочка, раз невтерпеж! И она приходит — вся взволнованная! Щеки пылают огнем юности! Я ее спрашиваю, что случилось, а она хватает меня за руку и страстно просит меня... — далее Ионыч заговорил речитативом: — про-сит дать ей в долг де-сять ты-сяч рублей! Представляете?! Де-сять ты-сяч руб-лей!..

Сереженька от такой информации чуть не подавился, так как имел доход в виде стипендии четыреста восемьдесят рублей в год.

— Да-а, — смог проговорить студент.

— Она что, дууура, я вас спрашиваю?! — В этот момент трубка профессора выделяла количество дыма, сравнимое лишь с выхлопом трубы паровоза. — Она, конечно дуууура!!! Неужели она не понимает, что я не храню такие деньги в мастерской! У меня нет сейфа, в конце концов! Я ей сказал: приходите, Ирочка, на квартиру, я вам там дам, хотя у меня и на квартире отсутствует сейф. У меня Соня...

— Дали? — с дрожью в голосе спросил Сереженька, посчитав, что на десять тысяч можно было купить трехкомнатную квартиру в писательском симоновском доме у метро «Аэропорт».

— Я бы дал, но она не пришла... Видимо, чего-то испугалась!..

— Наверное, Сони, — додумался студент.

На следующем занятии, щелкая слайдоскопом, Наим Ионович вдруг рассказал историю, которую почти никто не понял.



— Сижу я как-то в ресторане города Рима со своим приятелем-итальянцем, кстати, тоже миллионером, мы пьем красное вино...

— Не было водки? — удивился трагик Кривинский.

— Уважаемый студент, получивший от меня пятерку на будущем госэкзамене! Кажется, я вам дал возможность не посещать моих занятий?

— Для развития, профессор. Любопытства ради. Так что, там вообще водки нет? Во нелюди! А плодово-ягодное за рубль восемь?.. Что, тоже нет?

— Так вот, — продолжил Ионыч нараспев. — Сидим мы с приятелем и пьем красное вино, изысканное вино, не портвейн «три семерки», не «Солнцедар» и даже не «Новоарбатское», а вкушаем нектар декантированного «Массето». На нашем столе свежайшая моцарелла — такой белый деликатный сыр, слегка влажный, уложенный на срезы сладких помидоров из провинции Чезарто, лингвини с тертым пармезаном и жареные крошечные осьминожки с каперсами... — На этом месте почти всегда голодные студенты синхронно сглотнули. Кто-то, поперхнувшись, закашлялся. — Сидим мы с товарищем и рассуждаем степенно о Моне Лизе...

— У меня собачку зовут Мона, — встрял будущий комик Контиков. — А Лизой — бабушку. Она глухая и без зубов! А пожрать и выпить любит!

— Закончили, мой друг? Могу я продолжать?

— Извольте, Наим Ионович, — снизошел Контиков и кивнул по-гусарски.

— Огромное спасибо... Так вот, сидим мы с товарищем...

— Тоже миллионером, — напомнила нижегородская красотка Петрова.

— ...и говорим уже об Амадео Модильяни, о страстной короткой судьбе одного из величайших художников за всю историю человечества. — Ионьч щелкнул переключателем — и на экране возникла картина, с которой на аудиторию гипнотически смотрела полностью обнаженная женщина, лежащая ногами к зрителю. — «Лежащая обнаженная» кисти вышеназванного экспрессиониста. — Мужская часть курса шумно задышала, а девочки покраснели, хотя в темноте этого было не разглядеть. — Вот и сидим мы с товарищем, тоже миллионером, и рассуждаем, что эта картина когда-нибудь побьет все рекорды стоимости на аукционах... Кстати, в Риме летом очень жарко, невыносимо, поэтому мы в тот день ели неохотно, предпочитая духовную пищу мирской... — Казалось, он нарочно мучает аудиторию. — Принесли вторую бутылку «Массето», мы заговорили о русском гениальном Кандинском... — Еще щелчок — и студенты, к их разочарованию, больше голых баб не увидели. Вместо этого на экране возник хаос красок. Все подумали, что рисовал не гений, а маленький ребенок.

— Я тоже так могу! — заявил Кривинский. — А можно вернуть предыдущий слайдик?

— И тут я гляжу — за одним из столиков сидит невероятная женщина, боттичеллиевской красоты... — Слайдоскоп вновь щелкнул. На экране появилась Венера, у которой была видна лишь одна из голых грудей, вторая прикрыта рукой. — Боттичелли... Светловолосая, что в Италии огромная редкость, с изысканным вкусом одета, руки изящные, без колец на тонких пальцах, и большие черные глаза, наполненные печалью... Более говорить об искусстве с товарищем я не мог. Да и кто бы смог?! Преду мной сидела красивейшая, достойная кисти любого гения Мадонна, Дева Мария, женщина в божественном замысле... И я обмер от счастья созерцать такое чудо природы... — Ионыч сделал большую паузу и вздохнул как юный влюбленный, затем собрался и договорил: — Я набрался смелости и подошел к ней, представился... И каково было мое изумление, когда эта Мадонна, Дева Мария, совершенной красоты богиня оказалась обыкновенной блад!

Большинство не поняли, что имел в виду Ионыч, что за термин такой — «блад», но переспрашивать никто не решился. Лишь профнепригодные отличники оценили всю тонкость рассказа профессора. Конечно, в советском вузе Ионыч не мог произнести слово «блядь», а потому сказал «блад». Этот рассказ не для дегенератов актеров. Еще отличники считали с его души огромное разочарование: видимо, блядей искусствовед не жаловал...

— Сереженька, я так боюсь умирать!..

А потом перестройка, за ней девяностые — разнужданные, полные надежд и боли.

Как-то Сереженька, повзрослевший и возмужавший, давно бросивший актерство и занявшийся бизнесом, решил проведать старого преподавателя в доме на Садовом кольце. Они не виделись десять лет, но Ионыч узнал своего бывшего студента:

— Внук Федора?

— Ага...

— Соня! Соня, иди посмотри на Фединогу внука!

Она пришла из кухни с мокрыми руками. Сереженька впервые увидел «злую старуху», гонимую от Ионыча студенток. Соня оказалась милой немолодой женщиной в очках с толстыми стеклами. Она улыбалась, и бывший студент справедливо подумал, что не так страшен черт, как его малюют.

Его пригласили в кухню, где Соня развела в чашках отечественный растворимый кофе. Мужчина огляделся по сторонам и увидел, что квартира сильно запущена, с трещинами на потолках и стенах, где висели пожухлые картины.

— Это неизвестные голландцы! — пояснил профессор. — Я пробовал отнести их в комиссионку, но предложили всего двести долларов за все... И я не смог...

И здесь Сереженька понял, что Наим Ионович Гронский никогда не был миллионером. Теперь он знал, что за книги, а тем более искусствоведческие,

ничего не платят, разве что копейки, на которые можно купить только кофе и вафли. Даже в его любимой Италии их печатают за гранты разных университетов. А еще он увидел в холодильнике профессора коробку сыра «Виола» — и больше ничего. Совсем ничего...

— А ваша мастерская?

— Отобрал Союз художников пять лет назад и продал какому-то бандиту известному... Какому-то Грине Бабаоеду... Странная фамилия, правда?..

С того дня Сереженька стал часто бывать в доме Гронского. Каждый раз с полными сумками продуктов, среди которых всегда имелась банка отличного гранулированного растворимого кофе.

— Вы, Сереженька, приходите, если можете, по утрам. Соня утром ездит по букинистическим и сдает книжки. Она не позволяет мне пить кофе и после того, как вы уходите, забирает его и запирает в секретере... Можете?

Сереженька побывал в своем училище, где поговорил с ректором, который тоже когда-то учился у Гронского. Тот поохал-поохал и посетовал, что казна училища пуста... Такая жизнь нынче... Старух и стариков куда больше студентов! Пусть и великие эти старики, но уже почти ушедшая натура...

— Сука, ты, Женя! — сказал Сереженька ректору.

Через год, в новогодние праздники, ему позволила Соня и сказала, что у Наима Ионовича диаг-

ностировали рак поджелудочной железы, в третьей стадии. Дали не более трех месяцев...

— Я приеду!

— Приезжайте! Только он в больнице...

— Сереженька, я так боюсь умирать!

Он повторял эти слова вновь и вновь. Страдания его были не только физическими, но и моральными. Он говорил, что они с Соней не родили детей, что наследия никакого от его жизни нет. Лицо Ионыча осунулось и стало желтым.

— Ваши книги, Наим Ионович... Ваши лекции и вы сами. О вас будут рассказывать тысячи ваших учеников со сцены и за праздничным столом, своим детям и просто знакомым...

— Я бы съел банан! — попросил Ионыч.

Сереженька все же узнал, что такое синагога, и, придя в нее, попросил, чтобы его отвели к раввину.

Он рассказал странного вида человеку об уходящем учителе, о том, что старику очень тяжело умирается, что учитель спрашивал о раввине, поэтому он и пришел, хотя сам православный в душе.

— Обрезан? — спросил раввин.

— Что? — не понял Сереженька.

— Да это, собственно говоря, не важно... Я приеду завтра... Учитель, знаете ли, это... Учитель — это...

Раввин огромными шагами шел по длинному коридору больницы — в черной шляпе, с развеваю-

щимися пейсами, а встречные больные просили его благословить, почему-то приняв за церковного батюшку. И он всем желал здоровья и обещал вечное Царствие Божие их душе...

Ребе что-то долго шептал в самое ухо Ионычу, отчего в глазах профессора просветлялось, а в конце разговора, часов через пять, умирающий почти улыбался и плакал прозрачными слезами...

Ионыч умер ночью.

Соня побежала по инстанциям собирать справки, а Сереженька с одним состоятельным однокурсником подготовили похороны.

Прощались в большом фойе училища. В ненастный весенний день пришло такое огромное количество людей, что очередь тянулась от Вахтанговского театра до Нового Арбата. И столько знаменитостей, народных и заслуженных, произнесли великолепные речи над мертвым учителем, столько благодарности выливалось на гроб с телом, что в окно вошло летнее солнце.

На похоронах Сереженька встретил однокурсников. Пьяного и рыдающего Кривинского, вдруг постаревшего комика — заслуженного артиста России — Контикова. Сапунова пришла в соболиной шубе под руку с каким-то иностранцем, видимо, дипломатом...

Чтобы устроить на девятый день поминки, Соня снесла в комиссионный неизвестных голландцев, но выручила не двести, а всего сто долларов.

— Блад! — выругалась женщина. — БЛАД!!!

И опять были речи, но только в более узком кругу, в обшарпанной квартире Ионьча. Зашел раввин и, немного посидев за столом, произнес речь на своем языке... Приходили люди, сменяя за столом других, потом еще, говорили, говорили...

Жизнь Сони закончилась через неделю после девяти. Она легла спать — и не проснулась. Такую смерть Господь посылает невинным. Вероятно, за невинность ангел сопровождал ее к мужу без помощи всяких батюшек и раввинов.

А Сереженька... Сереженька узнал, что его педагог по сценической речи Варвара Ивановна, просто Вава в театральном мире, в свои девяносто три года сломала шейку бедра...



## КУРИНЫЙ БУЛЬОН

В нежном возрасте он относился к женщинам с самым утонченным романтическим ощущением и предчувствием любви, правда, смотрел на девочек издалека, нетерпеливо ожидая взросления.

В первую девочку он влюбился в тринадцать лет, если не считать секундных симпатий бесполой окраски в младших классах и детсаде.

В пионерском лагере, на Черном море, он впервые произнес слово «люблю». Ночью он пробрался в девчачью палату к предмету своего обожания с тюбиком зубной пасты. Всех спящих в палате девчонок измазал, а Ларе Галиной, присев к ней на краешек кровати, слегка подул на безмятежное личико. Ее кукольные ресницы затрепетали, и девочка открыла глаза. Он тотчас признался ей в любви.

— Я люблю тебя! — прошептал.

Девочка хлопала глазами, стараясь поскорее выбраться из сна, в котором тоже происходило что-то хорошее. Ей еще никогда не признавались в чувствах наяву, и она ощутила ответный порыв, а потому сказала:

— Я тоже тебя люблю!

Мальчик взял ее за руку, сердце бешено колотилось, и он все повторял, как будто его заклинило:

— Я тебя люблю! Я тебя люблю!..

Первую минуту она отвечала ему, что тоже любит, а потом целый час глядела на него улыбаясь, так как в лунном свете он был похож на Буратино. Следующий час она умоляла его немедленно уйти, потому что скоро начнет светать и может получиться ужасное, но он все продолжал шептать, словно молился:

— Люблю!

Она рассердилась и грозно, почти в голос командовала:

— Уходи!

Он ткнулся своим длинным носом в Ларино лицо, ощутил, что девочка пахнет куриным бульоном, и поцеловал ее в каменные губы:

— Я тебя люблю!..

Он улучил время перед завтраком и на лестнице в тысячный раз произнес самое избитое слово в человеческой истории:

— Люблю!..

Она раздраженно ответила, что опаздывает за стол, что из-за него ее могут не взять на море.

— Ты разлюбила меня? — спросил он.

— Да, — ответила девочка, так как ночь давно закончилась, солнце окрасило мир другими цветами и в нем для Буратино места не осталось. Перед

завтраком она вспоминала Дато, местного абхазского парня с черными дерзкими глазами, который ловко играет в настольный теннис, а на вчерашних танцах тесно прижимал ее успешно формирующуюся грудь к своему наливающемуся силой телу. К абхазцу она и чувствовала сейчас симпатию, а к ночному гостю уже нет. — Не люблю!

Его сердце, переполненное горем, толкало слезы к глазам, но он держался мужественно и решил сражаться за нее. На следующих танцах он подрался с аборигеном и вдруг понял, что организм его слишком слаб и неумел, тогда как в груди колотится молотом дух воина. Его прилично избили, и он до конца смены сидел на гальке возле моря, держась за сломанные ребра, глядя, как Ларка плавает. Она как грациозная русалка преодолевала натянутые по воде пенопластовые дорожки и побеждала всех, даже мальчишек из первого отряда обгоняла...

А потом смена закончилась, и они полтора суток ехали поездом обратно в Москву. Лара всю дорогу грустила, расставшись с красавцем Дато, а он страдал, что ее грусть связана не с ним...

Неожиданно она позвонила где-то через полгода, позвала в гости, и он поехал в далекое Новоигреево, где жила его летняя любовь...

Он сидел за кухонным столом и пил чай с медом. За окном завывала вьюга, а Ларка болтала всю дорогу. Он не прислушивался к ней, а лишь удив-

лялся, как тоненькая девочка с фигурой богини, пловчиха с узкими бедрами за несколько месяцев вдруг переменилась, расплнела так, что он с трудом ее узнавал. Такое бывает с девочками в возрасте перемен... А потом она замолчала и смотрела на него, а он на нее. Их глаза были наполнены разными смыслами.

— Я люблю тебя! — призналась девочка.

Ему стало грустно-грустно. Он отхлебнул из чашки остывшего чая с загустевшим медом и ответил:

— А я уже не люблю!

— Как же так? — Она заплакала. — Всего полгода прошло... Ты ведь дрался за меня...

— Да, — согласился он. — Дрался. Ты же разлюбила меня всего за несколько часов! Еще до драки.

— Я ошибалась!.. Может человек ошибиться?!..

Он надел тяжелое пальто с меховой подстежкой, натянул на уши кроличью шапку и, выходя из квартиры, в дверях произнес:

— Ошибиться человек может! — Шагнул за порог и добавил: — Ты жирная и неприятная! Это тебе в наказание!

В следующий раз любовь пришла в выпускном классе. Он к ней готовился, подтягивался на перекладине, отжимался и увеличивал объем груди с помощью эспандера, читал Бунина, Куприна и запреценную «Лолиту» Набокова. Мускулы окрепли,

черты лица заострились, взгляд стал устойчивым, и он стал похож на сильного повзрослевшего и возмужавшего Буратино... А она пришла в их школу только в девятый класс — переехала в новостройку рядом со школой. Он увидел ее на торжественной линейке первого сентября — и тотчас влюбился.

В этот первый день учебы он уже провожал новенькую, нес портфель и смотрел на ее слегка склоненную к худым плечам голову с роскошными длинными волосами. У девочки была мальчишеская грудь, маленькие горошины под водолазкой лишь слегка угадывались. Она была несколько отстранена от этого мира, как будто ее внутреннее обустройство было богаче реального. Или это просто ему казалось. Когда он предложил проводить новенькую до дома, она сразу кивнула, поглядела на него синими, как море, глазами и сказала:

— Пошли.

Он взял ее портфель...

А потом, подойдя к новому кирпичному дому, она еле слышно проговорила, что ее зовут Настя, а он почему-то попросил называть его Буратино. Сам не понял зачем. Она кивнула и ушла...

Несколько последующих дней после школы они бродили по Москве, и он даже вспомнил какие-то стихи из внеклассного чтения и декламировал их — пусть слегка неуклюже, но верно. Он угощал девочку пирожными и газированной водой, а по-

том интересовался особенностями ее жизни. А она не видела никаких необычностей в своем существовании, пожимала плечами, перекидывая длинные светлые волосы справа налево.

— Я обывательница, по-старому — мещанка, и все... Ничего интересного...

Он водил Настю в кино. Сначала решился прикоснуться в темноте к кончикам ее пальцев. Она руки не отдернула, но и не потянулась ею навстречу. Он взял Настину прохладную ладонь и слегка поглаживал весь сеанс.

Через неделю, все в том же кинотеатре, в последнем ряду он попытался ее поцеловать. Она губ не прятала, не сжимала, но и не пыталась целовать его горячий рот в ответ. Она пахла куриным бульоном.

Еще через неделю, когда гремел последний сентябрьский гром и Москву поливало дождем, она позвала его в квартиру, чтобы переждать ненастье. Родителей не было, и они прошли в комнату, где он ее сразу обнял со спины. Она опять не сопротивлялась, давая вволю целовать ее шею, перебирать пальцами волосы, а когда он потянул ее к диван-кровати — поддалась и легла на спину. Теряя контроль, он судорожно расстегивал пуговицы ее блузки, а она терпеливо ждала, пока он справится. Он сильно сдавил ей грудь, сжимая пальцами маленькие светло-розовые соски, а потом уже, тря-

сясь от возбуждения, раздел ее полностью, расстегнул ширинку своих джинсов и долго безуспешно тыкался совсем не в те места, пока она холодными пальцами не придала правильное направление. И он вошел в царствие небесное, погрузившись в него без остатка, растворив в девочке Насте свою девственность и душу без остатка. Он не заметил, как на мгновение синие глаза ее округлились, как она поморщилась от боли. Инстинкт бешено гнал его животное тело в живое русло жизни...

— Не в меня, — попросила она.

— Да-да, — прошептал он в ответ и едва успел пролиться горячим на ее плоский живот.

Потом он увидел на себе кровь и подумал, что поранился, но она сказала, что это ее. Он не понял.

— Это моя девственность, — пояснила Настя. — Я девственница. Понял?

И тут его озарило. В одно мгновение он понял, что эта девочка и есть любовь всей его жизни, что она предназначена для него, а он — для нее. Все сошло, все его ожидания оказались не напрасными.

— Я люблю тебя! — прошептал Буратино.

— Я в душ.

Она выскользнула из постели и пошла в ванную, держа руку между ног, не давая крови капнуть на пол.

Теперь они почти не расставались, проводя вместе все свободное время. Он постоянно что-то

ей рассказывал, а она загадочно улыбалась в ответ — и только. Он знал о ней столько же, сколько и в первый день знакомства. Ему эта загадочность нравилась... Настя никогда не отказывала в его желаниях. Ее тело было податливо, но страсть не охватывала плоть, она ни разу не застонала и не ответила ему на бесконечные слова любви.

— Я люблю тебя! Я люблю тебя!

Он думал, что все дело в возрасте, что женское в Насте еще не проснулось, что пройдет еще несколько месяцев — и все придет, в срок, как то положено. Буратино был готов ждать.

Он познакомился с ее родителями — инженерами, работающими на авиационном заводе. Они были приятными в общении, задорными и веселыми походниками, контрастируя с дочерью, которая отличалась молчаливостью и загадочной средневековой улыбкой.

Как-то отец Насти позвал его на лестницу покурить и после очередного рассказанного анекдота, сильно затянувшись, сказал молодому человеку в лоб, что их дочь ему не пара. Глаза Настиного отца смотрели в пол, как будто ему было неловко или стыдно.

— У меня отец начальник отдела в министерстве! — удивился Буратино.

— Да не в этом дело... — Он хотел что-то сказать, но спохватился: — В общем, держись, парень!



Буратино не придавал этому разговору должного значения, так как отцы всех девочек хотят их защитить, порой делая большие ошибки из-за собственной рьяности...

Он продолжал встречаться с Настей, но теперь старался приводить ее в свою квартиру. В один из вечеров он попросил сделать ему то, о чем боялся заикнуться до сих пор. И она сделала, без лишних проволочек: просто опустилась на колени, расстегнула ремень, хоть и неловко, но довела просьбу до логического завершения. Потом он слышал, как ее тошнило в ванной. Он спросил, все ли в порядке.

— Да, — ответила Настя.

Перед сном он понял, что она отдала ему самое главное доказательство любви. Он был молод и неопытен, а Куприн о таких тонких вещах в те времена не писал. Он вдруг страстно захотел жениться на ней, на почти семнадцатилетней, зная, что по обоюдному согласию часто расписывают и несовершеннолетних. Ему не терпелось тотчас помчаться в новостройку, чтобы попросить согласия стать его женой... В шесть утра он мчался легкими ногами к ее дому, переполненный восторгом и всеобъемлющим счастьем.

У подъезда он увидел Настю и парня в форме десантника, с дембельскими украшениями на груди и берете. Он остановился как вкопанный, укрылся за стволом старого тополя... Она просила десант-

ника простить ее, умоляла, потом говорила, что он сам виноват, поступив как скотина... В ее голосе заключалось столько страсти, которой не было, как он считал до поры, в их полугодичных отношениях. А потом она упала перед солдатом на колени и в голос закричала на всю пустынную улицу:

— Боречка, я люблю тебя! Люблю! Прости!!!  
Я сука, сука!!!

Он сам не понял, как вышел из-за дерева, как подошел к ним, будто замороженный.

— Настя... — проговорил он. — Как же так?!

И десантник, и девочка смотрели на него как на некое препятствие. Солдат вдруг что-то понял и сказал ей:

— Так это ты с ним?!!

— Он никто! — со злобой произнесла Настя, встав с колен. — Я же говорила! Я говорила, что люблю тебя, Боренька! Он лишь для того, чтобы тебе больнее было! Но ведь и ты мне причинил столько боли!.. Ты же не любил Светку! А я не люблю его! Подумаешь, проткнул нарисованный очаг в страну дураков!.. Ты нарочно с моей подругой!.. Ведь ты любишь меня?

— Она врет! — вдруг сказал он. — Она сделала мне минет! Без любви так не поступают! И проглотила!

— Эта может! — кивнул десантник. — Она мне по три письма в день присылала, описывала, как вы

и где!.. Про Куприна, «Лолиту»... Ты же Буратино?.. Она такая! Маленькая гнусная дрянь! Беги от нее, парень! Беги не оглядываясь! Кстати, у нас вокруг части столько таких тварей кружило — так они за трешку сосали всем без разбора! Отсосала не значит любит! Это сучка из мести мне!.. Так вот, Настенька, я на Светке женюсь седьмого ноября! А письма твои читал всем ребятам в части. Кайфовали, разбирали на ночь... За этим и приходил, чтобы сказать — иди в жопу! А там соси кому хочешь!

— Нет!!! — закричал Буратино и схватился за голову, словно старался удержать в деревянном черепе взрывающийся мозг. — Ааааааа! — Его качнуло в сторону, и он побежал куда-то по пустынным улицам...

С ним случилась горячка, и он чуть не умер. Лежал дома и бредил, а старенькая бабушка, услышав от доктора, что это нервный срыв, какое-то мощное потрясение, что само должно пройти при должном уходе и понимании, бросилась кормить внука всякими деликатесами, купленными на рынке. Пекла пироги и варила компоты, а его рвало только от одного запаха пищи... Бабушка, успевшая поучиться несколько лет в дореволюционном пансионе, понимала про внука почти все. Она точно знала, что нервный срыв у него от отношений с девочкой Настей и что только время и ее, бабушкина, любовь залечат раны. Еще она знала, что после таких ран

рубцы остаются на всю жизнь и влияют на ее течение до гробовой доски. Она жалела внука, но виду не показывала.

Через две недели Буратино вернулся в школу, и ему сразу же рассказали, что его девушка Настя пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток. Но она жива, ей уже промыли желудок. Ни один мускул не дрогнул на его лице — казалось, юноше наплевать на случившееся. А потом он увидел ее — осунувшуюся, с поблекшей синевой в глазах. Она смотрела на него как сквозь стену и прошла мимо, как бы через его прозрачность, в другую реальность, будто они и не знакомы были вовсе. Он отвернулся к окну, лишь ноздри его дрогнули от запаха куриного бульона...

Он не мог оправиться от случившегося несколько лет. Он не находился в депрессии, считая это состояние неконструктивным, просто его душа выстроила ряд мощных укреплений вокруг, дабы уберечь себя, ранимую и нежную, от новых разрушительных катаклизмов. Теперь, учась в институте, он общался с противоположным полом спокойно и холодно, как ледяной человек — неприступный, лишенный романтического воображения. Девушкам это почему-то нравилось, и их непостижимым образом тянуло к этому странному сильному парню с носом как у Буратино, который не выказывал симпатий к кому-либо конкретно, улыбаясь всем

девчонкам почти одинаково и отстраненно. Если кому-то и показалось, что он гомосексуалист, то сарафанная информация о том, что он за первый курс переспал почти со всеми девчонками потока, стерла всякие досужие домыслы.

Ему десятки раз признавались в любви, но он в ответ лишь улыбался загадочной средневековой улыбкой, как тогда девочка Настя, не чувствуя от самой избитой фразы в истории ровным счетом ничего.

Но его ждало еще одно потрясение, пробившее все защитные конструкции души, разом уничтожившее мощные военные базы вокруг.

Когда Буратино исполнилось тридцать, умерла его мать. Она никогда не жила с ним, отдав его на воспитание бабушке. Когда он был маленьким, мать либо брала сына на выходные, либо навещала, привозя эклеры с заварным кремом, и только. Иногда по воскресеньям, когда у нее было хорошее настроение, мать, красивая и восхитительная, позволяла ему приходить к ней в кровать признаваться в любви, щекотала счастливого сына до истерики, источая запах куриного бульона...

- Я люблю тебя! Я люблю...

Она целовала его до начала полового созревания, потом вместо ласки лишь проводила рукой по щеке, все более отстраняясь от подростка. А он пытался заставить ее любить его, любить, любить!!!

Но что он мог? Рыдать в своей спальне у бабушки?.. А мать была всегда далеко. Ей, окруженной известными мужчинами из мира эстрады и кино, было совсем не до прыщавого подростка, и со временем, как казалось ему, он потерял ее из своей души, выронил в глубокий колодезь золотой ключик, к которому не прилагалось двери. И лишь тогда, когда она неожиданно умерла, совсем молодой и прекрасной, он ощутил такую страшную боль, что душа, казалось, сорвалась в пропасть и летит в ад, переполненная нереализованной любовью...

Он многого достиг в жизни, в том числе и как мужчина. Буратино стал знаменитым художником. Он жил с самыми красивыми женщинами Москвы, и ни одна из них не ушла от него по собственному желанию... Три красавицы родили ему по сыну, но он ни на одной не остановился, чтобы построить семью, ни одной не признался в любви.

С сорока до пятидесяти он переспал с тысячью юных девиц. Нескончаемая вереница вагин словно бесчисленная птичья армада пролетела сквозь его жизнь, не оставив и следа... Хотя самой его дорогой работой стала картина «Тысяча вагин», на которой было изображено десять сотен «героинь», вынесенных в заглавие, — и ни одного повтора в их «лицах»! Все разные: от юных хищниц до вялых и старых, озорных и печальных, скромных и разверзнувшихся экзотическими цветами. На гонорар от экстра-

вагантной живописи он купил дом, где жил отшельником с помощницей-филиппинкой, не говорящей по-русски ни слова. Иногда приезжали сыновья с женами, привозили внуков к деду, а постаревший Буратино сидел в своем огромном кресле и посматривал на свое продолжение с любопытством. Заезжали и матери взрослых сыновей, ухоженные женщины, красивые в своем увядании, и все советовали ему найти вторую половину и в конце концов жениться, хотя бы под старость.

И он в шестьдесят три года бракосочетался со своей толстозадой помощницей с плоским, как рисовый блин, лицом — с филиппинкой Джойс, которую искренне боготворил непонятно за что, как, впрочем, и она его. Они почти не разговаривали, ограничивались лишь парой фраз на английском. Он часто говорил ей: «Я люблю тебя», но она не понимала по-русски. Джойс по-прежнему выполняла обязанности домработницы, а он совершенно перестал выезжать в город, наслаждаясь покоем. Обычно по утрам он целовал Джойс в губы, а затем, сунув свой длинный нос в ее черные волосы, вдыхал их аромат. Они никогда не пахли куриным бульоном, лишь синигангом — национальным супом филиппинцев. И еще: жена никогда не звала его Буратино, а просто: *my dear Pinocchio...*

## ДВОЕ

На автобусной остановке поселка Юдино сидели двое. Первым пришел мужчина лет пятидесяти или немного за, в черном сюртуке, белой рубашке с застегнутой верхней пуговицей, в черных шляпе и брюках и растоптанных ботинках на шнурках, также черного цвета. Мужчина был густо бородат, броваст, с большим мясистым носом, из которого обильно росли волосы. Из-под очков с тонкими золотыми дужками он долго и внимательно вглядывался в расписание движения автобуса номер один. Затем, выяснив все, что нужно, мужчина сел на лавочку и принялся ждать, вынув из кармана сюртука белую булку. До следующего транспорта было еще долго, и он решил простенько позавтракать тем, что имелось. Он с жадностью жевал белую мякоть, оставляя поджаристую корочку на потом, как бы на десерт. Крошки густо сыпались на бороду, но он не обращал на это внимания, получая странное удовольствие от простого хлеба. От сухомятки мужчина дважды икнул и выудил из-под сюртука детскую бутылочку с водой. Из таких обычно кормят младенцев. Он сделал пару глотков, и сухость в горле прошла. Теперь подошла очередь корочки, которую он с наслаждением долго жевал, пока не



покончил с нехитрым завтраком. Громко рыгнул, благо на остановке находился один.

Но его одиночество продлилось недолго. Из подлеска напротив асфальтовой дороги появился дядечка с лысой головой, малиновыми щеками, в рубахе-косоворотке, в шароварах со стрелкой от утюжения и в сандалиях, надетых на серые носки. Несмотря на убогость одежды, дядечка выглядел празднично: то ли лицо его было благостным, то ли еще что, но, подойдя к остановке, он сел рядом с бородачом и, улыбнувшись, поздоровался. Мужчина в ответ кивнул, соседа не разглядывал, погруженный в свои мысли. А дядечке с малиновыми щеками в это раннее воскресное утро было интересно жить, он долго, не стесняясь, рассматривал незнакомца, чуть ли не в уши к нему заглядывал, из которых, кстати, тоже торчали пучки волос.

— Не скоро автобус-то будет! — констатировал пришедший. Мужчина в ответ утвердительно кивнул, сморщив нос, втянувший перегар отнюдь не от «Шато Голан». — Завтракали недавно? — Незнакомец вновь кивнул. — Крошечки у вас в бороде, вот и догадался... Вы не местный, я тут всех знаю. В гости к кому или так, проездом?

— Еду, — неожиданным глубоким басом ответил мужчина в черной шляпе.

— Да, все мы куда-то едем. Только куда? — Вопрос был риторическим, и ответа на него не требовалось. — Странный у вас пиджак! Старинный, что

ли? — Дядечка бесцеремонно пощупал желтыми от никотина пальцами материю. — Ткань хорошая, плотная, а значит, вещь не старая. Я увлекаюсь дедукцией, — признался попутчик в сандалиях. Сосед в ответ только кашлянул. — Интересная штука! Если бы вернуть молодость, я бы пошел в школу милиции, учиться на следователя. А вы о чем в детстве мечтали?

— В детстве меня учили не мечтать.

— Тяжелые родители были? Ах, все мы родом из детства. А я как мечтал!.. — дядечка закатил глаза к небу, вспоминая. — И космонавтом хотел быть, и барабанщиком в ВИА, путешествовать по земному шару — так, чтобы весь глобус объехать. А вот судьба сложилась иначе.

— Поэтому родители и учили меня не мечтать.

— Да, — согласился лысый. — Мечты наши бесплодны.

— Именно.

Они немного помолчали, мужчина в шляпе вновь погрузился в свои мысли, а дядечка в сандалиях подставил лицо набирающему жара солнцу и получал удовольствие.

— Вы что такой бледный? — поинтересовался местный и вдруг зачихал по-кошачьи, смеясь в то же время. — Вот как в детстве: посмотришь на солнце — и чихаешь в удовольствие! Хотите попробовать? Давайте же, очень замечательное ощущение! — сказал и еще несколько раз чихнул, мелко-мелко. — Ну же! Не любите солнце?

— Я люблю солнце.

— А загорать? Были на море?

— Солнце для света, а море — для рыбы.

— Соглашусь. Загорать бесполезно. Морскую рыбу в Юдино почти не продают. Если что-то замороженное в брикетах привезут, совсем непотребное, — а так в нашей речке щучки навалом, карасей, плотвы... Уху любите? У нас юдинский рецепт особый. Рыбку когда забрасываете в кипящую воду, надо подождать три минутки и сверху яичко разбить! Ну, конечно, плюс зелень, картошечка и луковка с морковкой.

— Я не люблю уху. — Мужчина в шляпе засунул палец в ухо и почесал внутри. — Рыбьи кости. Они всегда попадают мне в горло...

На остановку прилетела оса. Сначала от нее отбивался местный дядечка, а потом она выбрала приезжего, обнаружив в его бороде хлебные крошки. Кое-как отстала, когда он их вытряс.

— Я местный буду. Ходил помогать копнить сено Ирине Ильиничне... А вы?

— Нет, — ответил бородач.

— Своих-то я знаю. Так откуда?

— Из Бердичева.

— Из Бердичева?... Это, который рядом с Житомиром?

— С Берлином.

Дядечка наморщил лоб:

— Скажите, пожалуйста... Никак не знал, что и в Германии есть Бердичев... — И тут мужчина

в черной шляпе неожиданно засмеялся, переходя с баса почти на контртенор, заливался смехом, трясясь от него всем телом. Дядечка, поняв шутку, также заулыбался, потом захохотал вторым голосом, держа от надрыва живот. — Ха-ха-ха, Бердичев в Германии!.. Ха-ха! Вот вы шутник... Ха-ха-ха! Я-то и удивился: географию знаю... Учителем здешним в средних классах тружусь!.. Ха-ха... — Они еще долго смеялись, пока не успокоились и каждый подумал о чем-то своем. — Я немцев не люблю. У меня дед с бабкой в войну погибли. Дед неподалеку отсюда, а бабка в городе была, ее увезли в Германию.

— Я тоже не люблю немцев, — признался приезжий.

— Куда же вы путь держите?

— Во Всеславский, в поселок.

— Так это вам на первом до конечной, а там только попутками. Родственники, дела?

— Знакомые. Попросили, чтобы я приехал десятым.

— Знаю! Там во Всеславском военная часть. Так вы на офицерскую переподготовку! Я тоже пятнадцать лет назад проходил. Как раз в роте девять душ было, а я, старлей, — десятым. Ух и наштагался я с пацанами по плацу тогда! Зато кормят хорошо. И мясо, и котлеты. Как-никак офицерская столовая!.. Какая же у вас специальность?

— Пушниной торгую.

- А военная?
- Я не в часть.
- А-а-а, я думал...
- Нет.

Дядечка кивнул и зевнул от подступающей жары.

— Давайте познакомимся, — предложил он и протянул крепкую, в веснушках, ладонь. — Меня Семеном зовут, а вас?

Мужчина в черной шляпе протянул навстречу совсем небольшого размера белую ладошку и принял вялое участие в рукопожатии.

— Гайк, — представился он. Увидев растерянность на лице нового знакомого, пояснил: — Гайк, без «а» на конце. Не гайка, а Гайк.

— Гайк, — повторил дядечка, пробуя на язык незнакомое имя.

— Имя армянское. В честь древнего бога.

— Не слышал... Не слышал... Вардан у нас в авто-сервисе работает. Тоже армянин... Хороший человек!

— Вардан — в честь царя.

— Да ну! Скажу ему, а то он и армянского языка не знает, всю жизнь здесь прожил... А дети у вас есть?

— Есть.

— Мальчик, девочка?

— И мальчики, и девочки.

— Четверо? — догадался Семен.

— Восемь.

— Что «восемь»?

— Детей. Три мальчика и пять девочек. Еще двойня скоро родится...

— Так всего десять будет?!

— Так.

— И как же вы? — дядечка казался ошарашенным. — У меня сын тридцати двух лет — так я с ним одним намучился, а сейчас плюнул. Пьет, гад.

— Ага, — отозвался приезжий.

— Десять детей! Скажи пожалуйста! — Семен аж вспотел и, утерев лоб ладонью, поинтересовался: — А как вы насчет этого?

— Чего?

— Как у вас с алкоголем? Пьете?

— Пью.

— Много? Хотя по вам не скажешь...

— В разное время по-разному.

— Я тоже пью, — признался лысый. — Меры не знаю...

— Бывает.

— Жена у меня угорела в бане. Моя вина: проморгал — выпил излишне...

— Да... Так тоже бывает.

— Если не спешите, то можно днем потрапезничать! Оставайтесь до вечернего автобуса. Есть отличный самогон, мы его текилой называем, у нас соседка кактусы разводит на подоконнике, мы их понемногу добавляем, сала друзья прислали шмат, обратно ушица... Соглашайтесь! Бабам нашим про пушнину расскажете... Но не купят.

— Не смогу — очень спешу!..

— Ясно... — загрустил дядечка. — Ясно, оттого и прекрасно!

На противоположной стороне остановился, скрипнув тормозами, «КамАЗ», из которого вылезла взъерошенная голова молодого шофера.

— Семен Изральевич! — крикнул он. — Канторович!

— Что, Василий? — отозвался криком дядечка.

— Вы Дину Яковлевну дождитесь, пожалуйте. У нее давление, просила, чтобы в храм помогли дойти!.. И Маринку Юдину — она очки потеряла!

— Дождусь, Василий, не сомневайся!

Дядечка, перекрикиваясь с шофером, не видел, что происходило с лицом приезжего мужчины в черной шляпе. Глаза его выкатились, а лицо перекосило, словно от инсульта.

— Вы что... Вы еврей?! — закашлявшись спросил приезжий.

— Да, а что?

— А в какой вы храм едете? Храма давно нет!

— Как нет? В трех остановках отсюда. Храм Успения Пресвятой Богородицы!

— Вы что, крещеный?

— С рождения.

Лицо приезжего мужчины отображало нечеловеческие муки.

— Да-да, — он что-то соображал. — Юдино... Так по-немецки евреев называли — юдейн...

— Что вы говорите?

— Я тоже еврей, вот ведь штука.

— Вы же говорили, что армянин, — не понял Семен Изральевич. — Гайка... То есть Гайк.

— По рождению армянин, а по вере еврей... Гиюр прошел тридцать лет назад. Меня равом Йонатаном в Бердичеве зовут...

— Так давайте с нами в храм!

— А вам мама или там бабушка ничего не рассказывали?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, про Тору...

— Не понял...

— Ничего-ничего... Это неправильный вопрос! А в гости вы к нам лучше приезжайте, — пригласил незнакомец. — Двенадцатым будете... Во Всеславский, там где часть военная...

— Если вы десятый, то кто ж одиннадцатый? — не понимал лысый дядечка Канторович.

— Всевышний... Шхина, надеюсь...

— Ебнутый, — подумал житель Юдино. — Сразу не понравился, и одет чудно! — Попадись армяшка ему нажравшемуся — по ебалу бы надавал, в здоровенный нос бы кулаком!

В какие-то десять минут на остановке собрался десяток местных, и Канторович, плюнув на неместного, поторопился помочь Дине Яковлевне, пожилой полной женщине с золотым крестиком в декольте на морщинистой коже.



— Ой, я не могу! — причитала она. — Ой, удар на голове случится! Азохен вей!

Поселковые громко обсуждали всякие местные новости, старухи и молодые возмущались, что в бане женский день на понедельник перенесли, тогда как у мужиков их целых три! А чего им там мыть?! Поселковые выразили надежду, что батюшка Иосиф не нажрался накануне воскресенья, а то на проповеди набьется с амвона, а кто-то всех удивил, сказав, что у Мишки Коэна вылупился цыпленок с двумя головами. Все перекрестились, но не поверили. Мишка всегда с припиздью был...

Подошел автобус, и все дружно зашли в него. Чужак в черной шляпе предпочел остаться возле задних дверей и до третьей остановки, «Храм», думал о том, что и впрямь чудны дела твои, Господи... А еще он подумал о том, что поперся в такую дремучую даль вместо райского города Эйлата и тепло-го моря родины, дабы исполнить мицву, стать деся-тым, чтобы евреи могли помолиться... А в тридцати километрах — целый поселок крикливых евреев... И у них, оказывается, есть Храм.

## ПЕЛЬМЕНИ

Александр Иванович Верецагин был очень успешным, даже чрезвычайно успешным бизнесменом. Ему принадлежало в России двадцать три процента производства всех изоляторов для линий ЛЭП, и он тесно дружил с РАО ЕЭС. Он не разбогател в одночасье, начинал, как многие в девяностые, с торговли всем, чем угодно, во всем себе отказывал, откладывая средства на более серьезный бизнес. От бандитов Саня Перец, прозванный так за черные волосы, успешно отбивался собственной дерзостью и отвагой.

Потихоньку-полегоньку он нащупал бизнес покрупнее, выяснив на собственном опыте, что электричества в стране ой как не хватает. И тогда Саня протоптал себе дорожку в администрацию Истринского района, где подружился с профильным замом главы, ведающим энергетическими ресурсами. Тогда в Подмосковье только начинали строиться новые русские богачи, и Саня перепродавал им электрические мощности втридорога, на чем серьезно поднялся. По случаю, там же на районе, купил морально устаревший завод по производству фаянсовых изоляторов, вложил в него

и наладил производство более современных изоляционных систем. Теперь он продавал технические условия плюс электричество и сам приводил линии к клиенту, сбывая попутно собственные изоляторы.

За двухтысячные бизнес его вырос чрезвычайно, и он теперь со своей сотней предприятий, выпускающих ультрасовременные полимерные изоляторы, стал одним из главных поставщиков РАО. К две тысячи десятому году Саня Перец, а теперь Александр Иванович Верещагин, прочно поселился в русском списке журнала «Форбс» и два раза в год посещал торжественные обеды Президента России.

Единственное, чем не был богат магнат, так это семьей. То ли из-за безумного десятилетия и каторжной работы, то ли просто не случилось, но Александр Иванович проживал бездетным и неженатым, справляя свои плотские нужды с девушками, которые охотятся за «форбсами», а когда хотелось быстро и без манер, вызывал в свою рублевскую резиденцию штук двадцать проשמандовок, выбирал парочку и ими утешался.

Но деньги и любимая работа, оказывается, не все, что нужно человеку для полноты жизни. Александр Иванович давно это понимал и страдал душевно. У всех товарищей молодости давным-давно сложились семьи, у кого-то по две, и по три даже, а он лишь раз пожил с рыжеволосой девушкой один месяц всласть. Казалось, что вот она — его избран-

ница, жена, мать, но девица выложила к первому числу свои нешуточные материальные требования, и он пнул ее с крыльца каблуком ботинка в модельный зад... На одном из застолий дружок детства Рыков, преуспевший на венчурном рынке отец семейства с милой женой Лидочкой, посоветовал не пытаться искать женщин в дорогих клубах и не летать на известные курорты, где красивого мяса полные пляжи.

— Там, в дорогом блядовнике, ты, Саня, никогда никого не найдешь, кроме приключений на свою уже немолодую жопу!

— Что же делать? — попросил совета Саня Перец.

— Спускайся в метро! И ездь пару недель с народом. Может, и вымотришь кого. Только в подземке есть еще бескорыстные женщины. Главное, — предупредил приятель, — сними с руки свой платиновый турбийон и оденься попроще!

Эта идея запала в мозг Александру Ивановичу, и он обдумывал ее со все нарастающим воодушевлением. Он даже отказал себе в оральном сексе, производимом ловким ротиком секретарши Милы каждое утро — для тонуса, конечно. Олигарх решил воздерживаться от всех видов любовных утех, чтобы глаз посвежел и он не промахнулся, не отсеял, не пропустил ту единственную суженую, когда случайно встретит ее в подземной электричке.

Наконец он решился в предстоящий понедельник посетить московское метро, посчитав, прикинув, что не был в нем года с девяностого. Как оно там сегодня, лучшее в мире?..

Александр Иванович послал домработницу на вещевой рынок за простыми, для народа, вещами, даже трусы велел купить дешевые. Весь вечер воскресенья мерил покупки, ужасался своему отражению в зеркале, ржал и офигевал оттого, что вся страна носит такое. Он подумал, что надо трусера с волком из «Ну погоди!» засветить Милке и велеть, чтобы сама такие носила. Однако на зайчика не встанет, подумал Александр Иванович.

В понедельник, в семь тридцать утра, небольшой кортеж из «Мерседеса» и джипа прикрытия припарковался возле станции метро «Речной вокзал», и Александр Иванович, проинструктировав охрану, что кататься будет до «Тверской» и обратно, чтобы не дергались зазря, если со сканера пропадет, набрал в грудь побольше воздуха, выдохнул, поплевал через левое плечо, выбрался из комфортного бронированного «Майбаха» — и стартовал.

Станция была до боли родная, когда-то он жил на «Речном», станция из его детства, лишь турникеты поменялись и народу целое море прибавилось. Он отстоял очередь в кассу и протянул в окошко пяти тысячную купюру, чтобы купить жетон — или чего там нужно... То, что он услышал в ответ, так-

же было родом из семидесятых. Его материли так, что даже очередь аплодировала. Наконец нашелся сердобольный старичок и обменял его пятидесятитысячную на искомый билет, зачем-то спросив, есть ли у мужчины социальная карта.

— Нет, — ответил олигарх, но старик уже растворился в толпе.

Александр Иванович протиснулся через турникет, влекомый плотным людским потоком, поймав себя на мысли, что помимо добропорядочных девушек в метро встречаются и порядочные люди. А у стариков особая закалка. Честность не проперишь, товарищ!

Потом эскалатор — и олигарх вспомнил, как с друзьями детства бегал по движущимся ступеням в противоход, а сил было столько, что они по полдня проводили на станции, играя в кто кого догонит...

Вспомнил Верещагин и специфическую атмосферу метрополитена, сложенную из тысяч запахов разных людей, нагретой техники и чего-то еще, приходящего на станцию из черного тоннеля, вытолканного на свет локомотивом поезда. Увидев на перроне милиционера, он почему-то испугался, а потом рассмеялся, чем вызвал подозрение у молодого сержанта. Он успел в последнее мгновение втиснуться в вагон, и этим маневром избежал, как в двенадцать лет, встречи с сердитым ментом.

Путешествие неожиданным образом начинало ему нравиться. Все происходило как в школьную пору, с приключениями, разношерстной толпой и беззастенчивым оттаптыванием ног.

Он осмотрелся поперх голов пассажиров, блего ростом был не обижен, но девушек не увидел во все, только тетенок и одну студентку — замухрышку в очках, читающую учебник по сопромату. Ничего, подумал друг РАО, на остановке переключую в другой вагон. Но и в другом вагоне, и в третьем ничего похожего на возможную спутницу жизни не находилось, хотя он уже добрался до «Тверской», изрядно пропотевший и ощущающий нехватку кислорода.

Александр Иванович еще трижды прокатился до «Тверской», обратно и вновь в центр. Он даже походил по переходу, взмокший и разочарованный, вглядываясь в женские лица, но ни одних просветленных глаз не нашел. Молодые и старые, одинаково унылые, пассажиры шли, таща в руках тяжелые сумки, и казались абсолютно асексуальными.

Сволочь Рыков, наврал с три короба, собака, а сам с Лидочкой на Мальдивах познакомился! А Лидочка там блядью работала. Все знают.

Он решил возвращаться на «Речной вокзал», хотел было выйти на улицу, дабы дожидаться своего «Майбаха» в каком-нибудь ресторане, но решил вернуться все же на поезде — так быстрее, да и в ре-

сторон в тренировочных штанах его бы не пустили. На улице, что ли, ждать...

Стоя в трясущемся вагоне, отравленный мизмами подземки, он уже не рассматривал людей в поисках юной пшеничноволосой скромной красавицы. Его нутро быстро поняло, что здесь его семейное будущее не ездит и скорее всего судьба просто не считает нужным радовать его чистым и светлым чувством. Деньги, здоровье, женщины для секса есть — еще и семью подавай! Такой щедрости в природе не бывает. Александр Иванович подумал, что сейчас вернется домой, примет душ и глотнет вискаря, несмотря на полуденное время, наденет дорогие трусы, в которых яйца не варятся и жопа не потеет, костюм, сшитый на заказ, носки шелковые, оксфордские ботинки, турбийон на руку — и срочно в офис, где его ждали слегка подсиленными губки Милы и изысканный обед с бутылочкой красного «Каберне Совиньон», произведенного в долине Напа в 1941 году.

«Сука Рыков! — еще раз подумал Александр Иванович. — Получит он у меня инсайд, как же!..»

Олигарх, начиная нешуточно злиться, толкался локтями с пассажирами на равных, поругивал иных за наглость, отыскал место возле выхода, как вдруг почувствовал неприятный запах: видимо, кто-то из соседей рыгнул. Почувствовали амбре и все рядом стоящие. Злобные взгляды устремились на плюга-



вого мужичка, а тот будто не замечал недовольных, сам зыркал глазками, как будто искал виновника... Александр Иванович помнил этот запах с самого детства, сам таким воздухом отрыгивал, а потому спросил мужичка в оттопыренное ухо с надеждой:

— Пельмени?

— Че? — на всякий случай насторожился попутчик.

— «Останкинские»?

— «Останкинские», — с испугом ответил попутчик. — А че?

— Это которые по пятьдесят пять копеек за пачку были лет тридцать назад?

— Точно...

— И ты их сегодня ел?

— Двойную, утром, — мужичонка нервничал. — А че?

— Точно «Останкинские»? — уточнил Верецагин.

— Да «Останкинские», чего доеб... — он осекся. — Надо чего?

— Неужели их еще выпускают?

— А чего ж нет?

— Сам варил?

— В пельменной ел.

— Что, в настоящей пельменной?! — обалдел олигарх.

— Нет, бля, в игрушечной!

— А адрес помнишь?

— На Беломорской... А че?

— Да знаешь ли ты, дружище, что я тридцать лет каждый день в ней обедал! Лет с четырнадцати. Я ж на Беломорской почти до нулевых прожил! Ах ты, голуба моя!..

Поезд резко затормозил, плюгавого мужичонку стиснули тела попутчиков, и он вновь невольно рыгнул.

— Сорян, — извинился он, но Александр Иванович подтолкнул его к дверям, так как подъезжали на «Речной вокзал».

— А пошли в пельменную! — предложил Верещагин. — А давай по тройной?!

— Мужик, ты чего?

— Тебя как зовут? — Александр Иванович предчувствовал настоящее приключение.

— Вова...

— Хочешь, Вова, сто долларов?

Лопухий мужичонка от неожиданности вновь рыгнул, но уже не извинился и быстро ответил:

— Хочу. А есть?

Александр Иванович достал из заднего кармана монблановский зажим для денег и помахал валютой перед носом мужичонки. Вова жадно слотнул:

— А двести можно?

— Можно и триста, если все хорошо прокатит.

Они поднимались на эскалаторе к выходу, а на лице нового знакомого, Вовы, всходило солнце будущего.

— А что делать-то?

— Так пельмени есть! По тройной, с маслом, со сметаной!

— Не прикальываешься? — все еще сомневался Вова, стоя на обочине Ленинградского шоссе.

Но когда возле него и нового знакомого остановился шикарный «Мерседес», а за ним машина охраны, ощущение приближения счастья усилилось. Выскочившей охране Александр Иванович, кивнув на мужичонку, сказал: «С нами», а когда они уселись на заднее сиденье, Вова вновь испугался, подумав, что на органы свезут. Хотя кому нужны его органы, пропитые и прокуренные с малолетства! После команды нового знакомого «На Беломорскую» успокоился окончательно и даже дополнил распоряжение Александра Ивановича:

— В пельменную!

Олигарх расхохотался от удовольствия и подтвердил:

— В пельменную. — И отщипнув от денежной пачечки соточку, передал ее новому знакомому. Мужичонка даже лизнул купюру на радостях.

Через пятнадцать минут они уже садились за столик родного для обоих заведения, но тут женский голос с кухни прокричал:

— Вовка, вали, падла, отсюда! И так на халяву здесь все утро побирался! Ща, бля, ментов позову!!!

К этому моменту в мужичонке проснулось давно забытое достоинство, правда, пока очень маленькое, и он крикнул в обратку:

— Но-но! Я попрошу!

Из кухни появилась дородная баба средних лет в синем переднике и белой наколке на пышном голубого цвета шиньоне. Ее мясистое лицо сквозь толстый слой пудры выражало неподдельное изумление. Она стала приближаться к столу с незваными гостями, выпятив громадную грудь.

— Белочку словил, что ли? — приговаривала она, перебрасывая из одной руки в другую мокрую тряпку. — Так мы тебя живо...

— Спокойно, товарищ! — вмешался Александр Иванович. — Тейк ит изи!! Вова со мной! — И в подтверждение смахнул с плеч потрепанного пиджачка нового знакомого обильную перхоть. С помощью салфетки конечно.

— А ты кто такой?! — разозлилась женщина. — И тебе по харе могу!

— Денежку примите! — предложил на опережение Александр Иванович, протягивая навстречу руку с американской банкнотой.

— Баксы?! — затормозила свое рубенсовское тело женщина.

— Они.

— У нас только в рублях...

— Будьте любезны, пошлите кого-нибудь в обменный — будем рублями расплачиваться! Возьмите сразу двести. Гулять будем!

— Еще сотку — и заведение закроем на спецобслуживание! — быстро сообщила повариха.

— Есть такое дело! — обрадовался Александр Иванович и добавил денег. — Только нам бы с водочкой! Да, Вовчик?

— А то! — хорохорился мужичонка. — Как же без водочки!!!

— И огурчика, капусточки квашеной, а то и грибочков!

— Во-во! — одобрил Вовчик.

— Алкоголя не держим, — задумалась повариха. — Разносолов тоже. Только если вы сами?

— Какие проблемы?! — обрадовался Александр Иванович и набрал номер водителя: — Сережа, давай сюда две «Серого гуся» из багажника — и живо в магазин за набором под водку на троих.

— Дичь будем жарить? — уточнила женщина.

— Какую дичь? — не понял олигарх.

— Гуся ж, сказал. Серого...

Александр Иванович вновь расхохотался. День должен был сложиться удачно, чтобы остаться в памяти до конца жизни.

— «Гусем» называется лучшая водка в мире! — уточнил. — Французская!

— Ну ты, блин, Саня, здесь не прав! — возразил Вовчик. — Есть только русская водка, а во французской лягушек вымачивают!

— И бараньи яйца! — добавила повариха и сочно заржала. — Меня, кстати, Мальвиной зовут.

— Саня, — представился незнакомец. — Но водка очень хорошая!

Здесь охрана внесла алкоголь, упакованный в красивые бутылки, и Мальвина метнулась за стаканами.

— Жизнь!.. — облизнулся Вовчик.

Разлили и выпили по первой за знакомство.

Мальвина покатила водку на языке и вынесла приговор:

— Не катит против нашей! Как вода! Ты что, Саня, француз?

— Русский.

— Так и пей русскую!

— Сейчас закупят! Без вопросов. Какую желаете?

Мальвина обернулась к кухне и заорала:

— Катька! Че там пельмени, готовы? Тащи, а то мы совсем здесь без закуси!

— Так чего — «Столичную» или «Пшеничную»? — вспомнил старые названия Саня.

— Пусть купят «Базарвокзал», — распорядился Вовчик. — Цена соответствует качеству! И вставляет не по-детски!

Александр Иванович, хохотнув, приказал в телефон купить ящик водки «Базарвокзал» и грозно прорычал в трубку: — А мне по хер, что ты такой не знаешь!

Здесь подоспели пельмени. Их вынесла на подносе худая, плоская, как селедка, Катька с маленькими красными глазками.

— Пельмешки! — заулыбался Александр Иванович, понюхав пар, исходящий из тарелок. — Пустые тридцать пять копеек в восьмидесятом стоили!

— Во память! — удивился Вовчик.

— Катька, накатишь французской водки? — предложила Мальвина.

— Нее, — отказалась разносчица. — Что для француза водка, то для русских игристое. Французская водка для пидоров!

— Вот-вот! Катька знает! — подтвердила Мальвина. — Щас нашу довезут!

— Тогда выпью!

— Ты давай тащи майонеза побольше, сметаны в тарелку глубокую налей, масла горячего. Короче, тащи все, что есть! Огурцы, помидоры!

— А со сметаной тридцать шесть стоили! — вспомнил Вовчик.

— Нет, — возразил Александр Иванович. — Это с маслом тридцать шесть, а со сметаной — тридцать семь!

— Ладно, — согласилась Мальвина. — Пока везут, плесни французской!

Олигарх кивнул Вовчику, и тот с радостью взял на себя роль разливающегого.

Здесь примчалась Катька с заправками, и Александр Иванович, макнув пельмень в майонез, осторожно, с помощью алюминиевой вилки, донес его до рта, положил на язык — и чуть не заплакал от счастья встречи со старым вкусом детства:

— О боже!!!

— А?! Как они, наши «Останкинские»? — заглянул в глаза олигарху Вовчик. — Это тебе, Саня, не ресторан «Пушкин»-хуюшкин! Это наша, бляхмуха, пельменная! Молодец, Мальвинка, не утерела поварского навыка!

— Это Катька варила, — уточнила женщина, у которой сквозь пудру начал пробиваться водочный румянец.

— А кто рецептуру сохранил?

— Уважуха! — присоединился к похвалам Александр Иванович. — Как в восьмидесятые! — Быстро проглотил еще с десятка пельменей и нечаянно рыгнул, отчего Вовчик захихикал, да и сам Александр Иванович разулыбался. — Господи, как же хорошо!.. А при Горбачеве появился еще соус «Краснодарский», красный, типа советский кетчуп, с ним одинарная стоила тридцать восемь!

— Ты, блин, лучше меня помнишь! — хлопнула увесистой ладонью по плечу олигарха Мальвина. — И вправду «Краснодарский» соус в бутылках был!



Здесь в запертую дверь интеллигентно постучались, и весь стол дружно пролаял:

— Закрыто!!!

А из-за двери голос:

— Это мы, Александр Иванович! Водку привезли!

— Свои! — успокоил Верещагин и сам отпер дверь, в которую внесли несколько коробок с едой и ящик водки. Женщины придвинули пустые столы, чтобы хватило для закуски места. А в коробках имелось. И грибочки маринованные, и салатики весовые с крабом и лососем, колбаска с жирком, сала шмат, корнишоны в маринаде, курица гриль, селедка, уже разделанная, с картошечкой вареной и пять пачек таблеток «Эссенциале форте». — Для печени незаменимо! — пояснил хозяин поляны.

Открыли первую «Базарвокзал» и налили по полстакана, чтобы хорошо стало.

— Тебя как по батюшке? — поинтересовалась Мальвина.

— Иваныч...

— Так вот, Иваныч, спасибо от нашего дружного коллектива за прекрасно начатый вечер!

— Еще двух нет! — захихикал мужичонка.

— А ну цыц!!! Если сидим за столом, да с такой закуской, с людьми — значит, вечер!

Худая Катька крепко сжимала костлявой рукой стакан и почти влюбленно смотрела на олигарха.

— Ага! — поддержала она начальнику.

— Тогда ура! — согласился Вовчик, и компания, звонко чокнувшись, отправила содержимое стаканов в свои утробы.

Александр Иванович выпучил глаза от неожиданного вкуса, похожего на ацетон, но тут жидкость упала в желудок и мгновенно всосалась в кровь, так что тело в мгновение расслабилось и в душе стало горячо.

— Ну что, Саня, — лыбился Вовчик. — Выптырило?

— Оххххх, блин! — подтвердил олигарх. — Мозг аж в черепушке перевернуло!

— Тебе ж говорили! — кивнула Мальвина с набитым колбасой и салатом ртом. — А ты — французская!

— Охуеть — не встать! — выразила свое духовное состояние Катька-сеledка, и за столом пошел, разгоняясь, незначащий разговорчик, как водится в выпивающей компании единомышленников. Александр Иванович налегал на пельмени, и обильная отрывка уже казалась обычным явлением. — А банка сгущенки стоила пятьдесят пять копеек! — неожиданно сказал он.

— Во! — отозвалась Катька. — И я помню! — И словно страус на длинных костлявых ногах помчалась на кухню варить новую порцию пельменей.

— Вот, Иваныч, у тебя память! — похвалила Мальвина, пока Вовчик разливал. — А хлеб скока стоил?

— Не! — запротестовал Вовчик. — Сначала выпьем, нолито!

Выпили, закусили, Вовчик куснул от целого хлебного батона, за что получил от хозяйки пельменной оглушительную затрещину.

— Ты чего, говнюк, один здесь, что ли?! — забасила Мальвина. — Ща в сраку пойдешь!

— Не буду больше! — испугался Вовчик.

Здесь подоспела Катька, неся на подносе штук двести горячих пельменей.

— Это смотря какой хлеб! — уточнил Александр Иванович.

— Ну а какой ты помнишь?

— Да всякий! Был батон за восемнадцать, такой средний, большой за двадцать восемь, четвертинка Бородинского за пятак, девятнадцать за целый, была еще белая булка за семь копеек, — вспоминал друг РАО. — Рогалики по пять, булка-калорийка с изюмом за девять и самая маленькая булочка по три копейки за штуку...

— И я это помню! — обрадовалась Катька. — Это та, у которой посередине, типа, щель была! На персик похожая!

— И я вспомнил! — Вовчик разлил по стаканам. — Мы еще девчонок в классе глумили, показывали им эти булки, похожие на пиз...

— Вованчанский! — попросил Александр Иванович. — Держите себя в руках!

— Короче, похожие на эту... как сказать-то... А-а! Похожую на то, что у девчонок между ног!

Все засмеялись, а олигарх похвалил Вовчика за хороший словарный запас:

— Можешь же!

Еще выпили, и опять за столом пошел-понесся ничего не значащий гур-гурчик, Катька что-то шептала Мальвине в ухо, косясь при этом на главу стола. Вовчик делился с Иванычем секретом вывода мандавошек с помощью ртутной мази.

— Семнадцать копеек!

— Чего «семнадцать копеек»? — не понял мужичонка.

— Стоила мазь! — объяснил Верещагин.

— И у тебя были?

— У всех были! Кто говорит, что не было — свистит! И у телок у всех!

— Вот отчего они бриться стали, — догадался Вовчик. — Все мы при Советах жили. Богатых мало было и бедных не много! — почему-то добавил мужичонка. — Все стабильно было... Цены...

— Все бедные были! Разливай!

Выпили всей компанией и открыли новую.

— Ой, мороз, мороз!.. — затянула Катька, но ее осекла Мальвина, стукнув пятерней по тощей спине:

— Погодь ты петь! Рано еще! — И оборотила красное лицо к мужчинам: — Ты, Иваныч, женат?

— Нет.

— А дети есть?

— Нет, и детей не имеется...

— У тебя что, не стоит?

— Стоит! — обиделся Александр Иванович. —  
Еще как!

— А ты докажи! — подначила Катька, которая  
была уже вполне себе подшофе.

— На тебя, Катька, даже у меня не встанет! —  
пришел на подмогу другу Вовчик. — Килька ты с од-  
ной дыркой!

— А ты у нас, бля, Распутин! — сверкнула по-  
красневшими глазами Мальвина. — Прыщ ты после  
эпиляции! — И заржала так громко, что в дверь на  
всякий случай заглянул охранник. — У моей таксы  
длиннее, чем у тебя!

Александр Иванович понял, что между Вовчи-  
ком и Мальвиной когда-то что-то было!

— Подзорная труба стоила тридцать рублей! —  
объявил он и, поднявшись со стула, предложил  
тост: — За присутствующих здесь дам! А докторская  
колбаса — два двадцать за кило!

— Ну голова! — не переставал нахваливаться Вовчик  
и тоже поднялся в рост. Его прилично пошатывало, но  
он собрался и скомандовал: — Гусары пьют с локтя!

— Какие гусары!.. — горестно вздохнула Маль-  
вина, взирая, как Вовчик пытается установить пол-  
ный стакан на плохо гнушийся локоть. — Гусары...  
Быдлота!

Александр Иванович вылил стакан водки в глотку по-простому. Ахнул двести грамм — как воды выпил. В голове у олигарха булькало, а глаза видели словно через полиэтиленовый пакет — размыто и нечетко.

— Сигареты «Ява» стоили сорок копеек, «Прима» — четырнадцать, «Дымок» — шестнадцать, а были еще кубинские «Партогас», от затыжки глаза на лоб вылезали. А стоили они всего двенадцать копеек! Правильно я говорю, Вовец?

— Ты ж... ты ж голова, Санек! — Мужичонка почти сомлел, торчащие уши его побледнели. — Было мороженое за девятнадцать!

Катька тоже скисла, и Мальвина по-матерински посоветовала ей поблевать, так как водки еще пол-ящика и закуски невпроворот.

— С розочкой мороженое! — дополнил Александр Иванович. — А без розочки — двадцать! До сих пор ни хера не могу понять, почему. Ведь розочку делали специально, а это лишний труд, а стоило меньше, чем без розочки!..

— А у меня дети разбились на мотоцикле с коляской. За две тысячи брал с наценкой, как передовик, без очереди! И жена вместе с ними! Хорошо тогда зарабатывал на авиационном заводе. Ой, блядь, как хорошо! Кстати, сигареты «Ява-100» стоили шестьдесят копеек!..

— Давно? — спросил Александр Иванович, уже

не способный на драматизм, пытаюсь холеным ногтем вытащить из щелочки между передними зубами застрявшие волокна копченой колбасы.

— Двадцать пять лет уже! — ответила Мальвина и разлила по стаканам «Базарвокзал». — С тех пор бухает... За помин душ невинных! — предложила тост хозяйка пельменной и сделала мхатовскую паузу, во время которой донеслись звуки блева Катьки в туалете.

Выпили.

— А тебе, Наташка... — Вовчик икнул, — тебе горя не понять! А потому что у тебя мужиков тыща была, а деток — ноль!

— Ты как, Вовуленский? — обнял нового друга Александр Иванович. — Хочешь «Эссенциале»? — И тут в мозгу олигарха будто вспыхнуло, будто окошко на мгновение в прошлое открылось. Он вспомнил себя десятиклассником, пылко влюбленным в молодую раздатчицу пельменей, стройную зеленоглазую девушку с застенчивыми глазами. — Наташка, это ты?! — заплетающимся языком сложил фразу Верещагин. — Белогурова, ты?!

Мальвина вдруг поперхнулась горошком из оливье:

— Ну я! Ты откуда знаешь, что я Белогурова? Та в девичестве осталась! Сейчас я по последнему мужу-еврею Калманович!..

— Так это я, Таточка!

В глазах Мальвины, будто в телевизорах, друг за другом переключались каналы — то вспыхнут, то погаснут, как в рекламе. Она выпила в одиночестве, оттолкнув лезущую с поцелуями отблевавшуюся Катьку:

— И?!!

— Это я — Саняша!..

Неожиданно лицо Мальвины помолодело, глаза смотрели почти по-девичьи:

— Саняша?!

— Ага.

— Саняша Верещагин?!

— Я...

И Вовчик и Катька затихли, наблюдая за неожиданно развернувшимся сюжетом. Мужчичонка даже рыгал в кулак, чтобы тише было.

— Санька!.. — улыбнулась Мальвина с внезапно выступившими на глаза слезами. — Саняша Верещагин... — По ее обвислым щекам текли черные ручьи туши для ресниц. — Заматерел, разбогател... — Александр Иванович скромно пожал плечами. — С охраной... Красив, молод...

— И ты красивая! — со страстью ответил Верещагин. — Ты очень красивая, Татуля!

— Иди ты! — махнула могучей рукой хозяйка пельменной. Сказала с нежностью.

— Правда, верь мне! — Александр Иванович в жилах которого наполовину, перемешавшись



с кровью, текла водка «Базарвокзал», видел в большой, немолодой и грубой женщине ту пшенично-волосую девушку, в которую был нежно, в первый раз, влюблен.

— Он мне сирень дарил летом! — рассказала Мальвина, так же как и Верецагин, окунувшаяся в прошлое. — Каждый день. Она так пахла...

— Да, — подтвердил Александр Иванович. — Тридцать пять копеек...

— Осенью — розы...

— Рубль на длинной ножке...

— На Восьмое марта — мимозу...

— Сорок...

Мальвина поднялась из-за стола, мужским шагом подошла к олигарху и, усевшись широченным задом к нему на колени, плеснула водки в стакан и засосала Александра Ивановича в губы с такой силой, словно за тридцать пять лет ласку наверстывала. Затем, оторвавшись от его посиневшего рта, глотнула водки и открылась компании:

— Первая я у него была, а он у меня!

Александр Иванович кивнул, подтверждая.

— Вот, блядь, замес! — офигела Катька.

— Прити вумен! — обалдел Вовчик.

— Двадцать пять копеек стоил билет в кино... —

Верецагин хотел было поведать, что цена возрастала на десять копеек, если с удлиненной програм-

мой, но здесь его губы опять были втянуты в рот Мальвины — будто пылесос всосал...

— А я еще девка! — призналась Катька, но все прослушали эту коротенькое признание...

Очнулся Александр Иванович, когда еще темно за окном было. Невообразимо мутило, и он сполз с кровати, от которой густо пахло потом. Он обернулся и увидел спящую на спине вчерашнюю знакомую, хозяйку пельменной. Ее огромная грудь, запакованная в бюстгальтер, вздымалась Везувием, а на выдохе гора жира и плоти клокотала, словно вот-вот извергнется лавой. Верещагин, созерцая соцреалистический пейзаж с чернушным окрасом, так испугался, как не боялся до этого никогда в жизни... Он вспомнил, как садился за стол с незнакомыми людьми, вспомнил советские пельмени, как его ребята привезли ящик водки «Базарвокзал», пару тостов, эту бабищу страшенную вспомнил, которая за триста баксов закрыла пельменную для частной вечеринки. Вовчика припомнил, тупую девку Катьку — и больше ничего, словно на сознание упал театральный занавес. О чем говорили, что ели-пили — все пропало в черной яме. Еще он понял, что находится в квартире этой чудовищной женщины, почти голый, в трусах с растянутой резинкой с волком и зайчиком. Он чуть не упал, поняв, что переспал с этой... старой блядью... Мальвиной, но взял себя в руки, трясаясь

с перепою, собрал в охапку вещи, нащупал дверь и покрутил ключ в замке.

— Валишь? — услышал он грозный голос и почти обгадился. — Поматросил и бросил?! — Женщина села в постели. — Гондон ты, Верещагин, конченный!.. Как был гондоном, так им и остался.

— А презик тогда стоил четыре копейки! — вырвалось у Александра Ивановича.

— Да пошел ты в жопу! — затрубила Мальвина. — Ну, мудила грешный! Затрахал мозг вконец своими ценами!

Здесь залаяла собака, и Александр Иванович почувствовал болезненный укус за лодыжку. Он сам взвыл по-собачьи и вывалился на лестничную площадку. Хорошо, охранник дежурил в пролете. Он подхватил драгоценное тело олигарха на руки и отнес его в «Майбах», где Верещагина вырвало.

— Куда едем? — спросил водитель.

— В цирк, твою мать!!!

— Понял...

Он пришел в себя к двум часам дня в подмосковной усадьбе. Рядом сидел Михаил, его личный врач. В вену была вставлена игла, через которую в кровь поступал физраствор с феназепамом и еще много с чем. В руках Михаил держал бумаги и констатировал, что показатели биохимии таковы, как будто Александр Иванович последние три года пил денатурат, а закусывал негашеной известью.

— Ой, бля!.. — охнул Верещагин, схватившись за голову.

— А это похмелье.

— Да знаю, — ответил он и пошевелил распухшим от сухости языком. — Капустного рассола принесите! — попросил жалобно, но здесь в паху зачесалось, да так сильно, что Александр Иванович застонал: — Это, ептыть, что еще?!

Личный врач откинул одеяло, приспустил пижамные штаны, поглядел и констатировал:

— Лобковые вши.

— Мандавошки? — уточнил олигарх.

— Так точно.

— Семнадцать копеек.

— Что? — не понял Михаил.

— Ртутная мазь...

— Это прошлый век! Просто побреем и дезинфицируем...

Ему дали выпить рассолу и покормили куриным бульоном. К вечеру он стал потихонечку приходить в себя и первым делом велел соединить его с секретаршей Милой, которой приказал тотчас позвонить Рыкову и немедленно передать другу конфиденциальную информацию, чтобы тот срочно шортил РАО, то есть играл на понижение.

— И скажи этой суке... Скажи Рыкову, что Чубайс в отрасль возвращается...

Про себя подумал, что это была его последняя поездка в метро... Верещагин вдруг отрыгнул отвра-

тительным запахом советских пельменей и сказал себе, что жить прошлым неправильно, а вчерашнее необходимо забыть навсегда.

В четверг Александр Иванович вышел на работу и первым делом наслаждался оральным сексом от Милы. Проглядев биржевые сводки, он убедился, что Рыков попал так сильно, что в их частном клубе теперь ему не место, а его жене Лидочке придется закладывать брюлики... Чубайс остался в нанотехнологиях, и акции РАО взлетели...

Олигарх плодотворно потрудился этим днем, а вечером, сидя в частном клубе, пыхая сигарным дымом, решил сходить в воскресенье в консерваторию или в музей... Может, там чего отыщется... Или блядей приличных вызвать?.. Блядей, ответил себе тотчас.

## ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР В РАЙ

*Гаричу*

Их знакомство состоялось на острове Антигуа, принадлежавшем когда-то Британской империи. Он пролетел через полмира, чтобы найти парусную лодку и пересечь Атлантический океан в самое тяжелое и неподходящее для таких переходов время года. Пять тысяч морских миль предстояло перейти на пятнадцатиметровой лодке с двумя незнакомыми итальянскими моряками. Все расстояния надо было утюжить против ветра, а значит, и волн. В общем, это было полным безумием, так как он никогда не плавал на парусных яхтах, вообще к морю отношения не имел, лишь на финских озерах рыбачил с весельной лодки. Он был оседлым писателем, и к сорока пяти его душа потребовала экстрима, проверки мужских качеств, в которых он в своем возрасте несколько сомневался. Вот он и решился на то, о чем понятия не имел и что могло его убить.

Всю посредническую деятельность осуществлял Гарич, мужчина под полтинник, уехавший из России пятнадцать лет назад, живущий девяносто процентов времени на лодках и катамаранах, то есть в океане или в Средиземном море. Его друзья попросили пристроить рискованного русского писате-

ля на какую-нибудь лодочку, чтобы у увальня, которыми считают писателей бизнесмены, у писаки все внутренности перетряхнуло. Гарич просьбу выполнил. Но прежде чем отправить нового товарища в путешествие, сравнимое с покорением Эвереста по самому сложному маршруту, опытный морской житель мягко отговаривал упитанного дилетанта от необдуманного шага, предлагая пройти на своей превосходной парусной лодке — с итальянскими матросами и капитаном, с отличной сицилийской поварихой на борту — к Гибралтару, по течению, под умный разговорчик, разбавляя диалоги чудесными винами, имеющимися в достатке. Писатель, поблагодарив за гостеприимство, от комфортного путешествия отказался и уплыл на утлой лодочке в неизвестность.

Несмотря на сложности маршрута, он все же добрался до Азорских островов, два раза чуть не погибнув от штормов, похудевший на двадцать килограммов и закалившийся духом. По прибытии он купил на острове сто килограммов мороженого и на радостях накормил им всех моряков, находящихся в порту.

Морское сообщество — одно из самых закрытых: элитнейший клуб. Сухопутных в него не пускали — разве что туристами, пару дней поплавать ради заработка капитана... Но русского писателя приняли как своего, так как слухи в Мировом оке-

ане распространяются со скоростью Интернета. Даже среди профессионалов с огромным стажем мало найдется седых парней, проделавших столь сложный маршрут. Яхтсмены оказывали ему респект и предлагали любую помощь в любом порту мира, с чем бы это ни было связано. Перегнать лодку или чего там еще.

А посредник Гарич, ставший его другом с тех времен, так и не дошел тогда до Гибралтара, так как не было ветра. Ему доложили, что Писатель достойно показал себя в критических ситуациях, ни разу не обосрался, работал наравне с итальяхами, профессиональными моряками, — в общем, вел себя почти героически, и Гарич летом пригласил кудесника пера поплавать вокруг южных неапольских островов. Помимо совместного отдыха, потрясающей еды и наслаждения красным вином, оказалось, что с Писателем есть о чем говорить. Он не гоношился тем, что его книги читают в Европе, не обсуждал собственных достоинств, оттенков уникального таланта, как любили делать многие его коллеги, и в обыденной жизни вел себя не как сочинитель, а как нормальный парень, любящий бухнуть и пожрать... Здесь, кружа между островами, они сблизились, найдя много общего в своем внутреннем мире, переходя от легкого пиздунца к серьезным философским вопросам... Мало людей, которые в возрасте после пятидесяти могут сойтись и стать друзьями. Все в их жизни уже



сложилось, как оно есть, все друзья с детства, а так, чтобы по-настоящему, в полтинник как в третьем классе школы — дворовая дружба неразлейвода, — такое случается крайне редко. А между ними эта редкость произошла, и они пару раз в году плавали на лодке вдвоем, получая удовольствие от общения друг с другом. Встречались они и на земле, но никогда в России, так как Гарич не выносил того, чем стала его родина. Писатель, впрочем, тоже не жаловал могучий упадок славянской цивилизации, живя в ней ради детей, поддержки своего родного языка и любви к особенным запахам в подмосковной природе. Гарич таких сентенций не понимал, но принимал, так как писатель есть писатель — как же ему без эмоциональных отвлечений... Они бродили по старинным улочкам итальянских городов, много и вкусно ели, богато и пьяно пили, ночевали с красивыми женщинами. В спокойной Европе, в ласковых морях, в ресторанчиках они часто обсуждали географическую карту мира, на которой практически не осталось нетронутых цивилизацией мест, стремясь все же отыскать такое, чтобы совсем первобытное, и каждый год проводить зимнее время в теплом красивом месте. Им помог опытнейший итальянский капитан Гарича Марсело, который из тысячи мест выбрал одно-единственное, на его взгляд подходящее их желанию. Выбрал по слухам и по наитию. Сам он никогда там не бывал, информация шла от

знакомых его знакомых, непроверенная, неподтвержденная, но чуйка опытного капитана, инструктора по выживанию, который в одиночку прошел под парусом на доске с колесами пустыню Сахара, говорила, что все сложится, что именно там находится отвалившийся кусочек обетованной земли.

На том и порешили, и зимой, после Нового года, поехали. Встретились в Амстердаме, курнули косячок дружбы и полетели через океан в Панаму. Лодка уже была на месте, в порту города Колон, одного из самых опасных городов мира, в котором трудно найти жителя не бандита. Может быть, маленькие дети только, да и у тех пики в карманах. Таксисты отказывались их везти, тем более вечером, дорожа собственной жизнью. Один из них сказал, что убить не убьют, у него тетка в городе, но машину отберут, а у него трое детей. Его и уговорили, обещав оплатить стоимость старого кособокого автомобиля плюс пару сотен сверху. Через три часа без особых происшествий они добрались до порта, который охраняли американские автоматчики, где в безопасности стояла их лодка, упакованная для долгого плавания на архипелаг Сан-Блас с более чем двумя сотнями островов, окруженных барьерным рифом, с туземными жителями племени гуна.

Им предстоял переход в четверо суток, и они решили нигде не останавливаться, чтобы поскорее узнать, правильный ли сделан выбор, выиграл ли их

единственный лотерейный билет. Ночами откуда-то доносились истошные крики, и капитан Марсело объяснил, что один из островов полностью принадлежит обезьянам. Там когда-то жили туземцы, но каким-то странным образом приматы их оттуда вытеснили, и сейчас остров называется Островом обезьян. Писатель хотел на него попасть, вооруженный любопытством и фотокамерой, но коли решили не останавливаться...

На четвертые сутки перехода они достигли места назначения, но пришли к ночи, черной, как угольная шахта, с небом, наполненным звездами, будто по небосводу рассыпали сахарный песок... Оба были страстными рыбаками, и лишь только опустился якорь, они забросили удочки... Удочками назывались куски фанеры, на которые были намотаны лески с грузилами и крючками. Просто насаживаешь на зубчик кусок курицы или сосиски — и бросаешь с кормы. Под тяжестью грузила леска раскручивается сама, пока свинцовая снасть не достигнет дна. Ее сразу нужно подтянуть сантиметров на десять — и ждать. Как раз последнего делать и не пришлось. За пятнадцать минут в четыре руки, опьяневшие от восторга, они наловили ведро увесистых каранжиков, скрипящих от ярости гортанным звуком, часть из которых сицилийская повариха Клаудиа сразу заморозила, а остальных приготовила на гриле. Они ели молча, лишь иног-

да звякали бокалы с вином, нарушая кажущуюся тишину, которую друзья внимательно слушали. То с правого, то с левого борта постоянно кто-то плескался, будто веслами били по воде. Казалось, что какие-то существа выныривают из воды поглядеть на парковочные огни лодки. Гарич включил мощный фонарь и осветил ночную поверхность океана. Из воды на метровую высоту выпрыгивали молодые любопытные манты, и казалось, рыбы зависали в воздухе, размахивая плавниками как птицы крыльями. Трудно рассказывать о восторге взрослых, почти седых людей, но именно это чувство, льющееся через края души, они испытали. А еще сноп света выхватил плывущую к ним белую мамбу, самую опасную змею на планете, которая пыталась укусить лодку. Потом им никто не верил, что это была именно мамба, пока они не отыскиали в Сети фотографии мамбы-альбиноса...

Они уже готовились ко сну, но их ждало еще одно приключение: сработала стационарная удочка, предназначенная для крупной рыбы. Этот треск катушки с леской знают все настоящие рыбаки. Это короткое соло, похожее на трещоточный крик сойки, вызывает такой выброс адреналина, что вся команда, даже повариха Клаудиа, улегшаяся спать, выскочила на лестницу кают-компания в исподнем и смотрела, как Гарич с трудом, напрягая мышцы ног и рук, по чуть-чуть сматывает леску на катушку, а Марсело

стоит наготове с острым багром. Удилище согнулось, словно стремилось стать луком для стрельбы, казалось, еще немного — и снасти за полторы тысячи долларов придет конец. Но потому она так дорого и стоит, что может выдержать полтонны живой, бьющейся за жизнь плоти. Гарича сменил Марсело, затем Писатель, потом каждый поработал еще раз, пока добычу не подтянули к корме. В луче фонаря, пугая своим огромным плавником, на них огромными глазищами таращилась акула-молот. Поняв, что ничего особо интересного на поверхности нет, лодку не сожрешь, мощная рыба спокойно срезала леску острым, как казацкая шашка, зубом и ушла на глубину, откуда, развлекаясь, потом еще целый час гоняла к поверхности скатов и всяческую рыбу.

В эту ночь Писатель и Гарич были счастливы, а потому от множества впечатлений, от переживания мужчины заснули лишь под самое утро.

А на заре перед ними раскрылся рай. Изумрудное море, белые пески и сотни островов с маленькими хижинами под пальмами и едва слышным грозным рокотом Атлантического океана, накатывающего на барьерный риф. Гарич и Писатель вертели головами по сторонам, кудесник пера, умиленный, почти плакал от счастья видеть такую фантастическую красоту, а его друг просто улыбался и спрашивал в несвойственной для него манере:

— Писатель, ты видишь это?! Во, блядь!

— Да, блядь, вижу! — Писатель по матери говорить любил и умел. — Это пиздец какой-то, а не блядь!

— А индейцев видишь?

— Вижу.

— Бинокль дать?

— Ну на хуй...

Конечно, не одни они нашли это благословенное место, с некоторым, как им казалось, божественным присутствием. Позже они узнали у гуна, что возле одного из островов побольше стоят лодки французов, образовавшихся в сообщество, а у другого острова — итальянцы. Многие живут здесь с десятков лет и больше, а синьор Президенте Скилачи, признанный лидер итальянцев, долговязый старик с улыбкой мальчишки, вместе с женой обосновались на Сан-Блас почти двадцать восемь лет назад. Скоро его тендер — маленькая лодочка с мотором — пришвартовался к их лодке, и они долго о чем-то громко разговаривали с капитаном и Гаричем. Писатель итальянского не знал и в это время готовил костюмы для подводного плавания, проверял ружья и прочее снаряжение. Гарич и Марсело получили от Президенте Скилачи майки с трафаретом итальянского сообщества, а для синьора Скригоре, «писателя» по-итальянски, размера четыре икс нет, но на следующий год он закажет, если мы еще придем в это место.

Они уже точно знали, что придут, погрузившись в океанские воды, к рифам, между которых вела размеренный образ жизни всяческая рыба, съедобная и декоративная, и они били ее для пропитания плюс про запас...

Они провели месяц полностью отключившись от прошлой жизни, забыв, что существует цивилизация — с детьми, женами и бизнесом. Индейцы привозили на долбленках огромных лобстеров и крабов, за единицу которых просили по доллару, овощи и фрукты за центы, друзья бесконечно ныряли и по нескольку дней не стреляли рыбу, лишь обозначали выстрел, так как в холодильнике было еще много свежей на обед и ужин. А когда пошел малек, капитан Марсело предложил ловить его мелкочейстой сеткой возле песчаного берега. Писатель рыбешку загонял, разводя под водой большие руки, и почему-то гудел басом, словно паровоз предупреждал о прибытии, а капитан с Гаричем по команде сетку бросали, каждый раз вылавливая граммов по сто мальков и радуясь этой копеечной добыче. Со стороны могло показаться, что группу пожилых имбецилов вывели на свободу. Седые мужики с изрядными животами кричали, как дети, а вечером Клаудиа нажарила во фритюре пончиков с пойманными мальками. Казалось, ничего вкуснее они в жизни не ели...

К концу первого месяца Гарич и Писатель устроили на одном необитаемом острове лобстер-

ную пати, на которую по радиосвязи были приглашены все итальянцы. Конечно, они пришли, каждый что-то принес, алкоголь или овощи, ели, пили, рассказывали старые анекдоты про восьмиметрового крокодила Карла, которому лет сто и который в год сжирает пару-тройку индейцев, что не так и много. Но гвоздем вечера стал восьмидесятичетырехлетний Абеле, пять месяцев назад зачем-то притащивший из Панамы на свою лодку басовый саксофон и репетировавший по пять часов в день, чтобы сегодня сыграть для соотечественников единственную разученную мелодию «Посмотрите ночью на луну». Он иногда ошибался, давал дрозда, но никто не замечал огрехов, под аккомпанемент сакса все дружно пели знаменитые строки великой песни: «Guarda che luna, guarda che mare», даже Писатель подтягивал басом. «Русо басо», — приветствовали итальянцы. А старик играл так вдохновенно, будто шел к этому выступлению всю свою жизнь! Таким способом он отпевал умершую прошлой весной жену Агостину... Через год Марио умер, и его тело отвезли на родину, в Неаполь, похоронили рядом с женой, опустив гроб в землю под игру профессионального саксофониста.

Даже в раю надоедает. Иногда грешникам хочется спуститься в брэнную жизнь, дабы почувствовать контраст. И Писатель, и Гарич в ненастные дни говорили о желании посидеть в хорошем рестора-



не, с белыми скатертями и официантами, мечтали о больших душевых кабинах, о свежести прохладных простыней в роскошном отеле с парикмахерской. Вот именно такие разговоры они называли легким пиздуном.

— Да, — соглашался Писатель. — Заснуть под кондиционером...

— А перед этим — к женщинам!

— Я латиносок не люблю, — признался Писатель. — Я беленьких хочу.

Марсело расстроил тем, что беленьких в Панаме не найдешь, если только крашенных, но, правда, была одна попытка десантировать в Панаму публичный дом из Москвы с наглым рисковым сутенером Герой Финским. Бизнес пошел так, как будто не проститутками торговали, а нефтью. Но через две недели бордель закрылся по неизвестным причинам, а потом на помойках в полиэтиленовых пакетах стали находить части белых женских тел. Отыскалась и голова Геры.

— Придется тебе, Писатель, довольствоваться местными сиськами и жопами!

— Я не могу! — поморщился беллетрист. — Они все искусственные...

В Южной Америке заведено, что на шестнадцатилетие девочки отец дарит ей новую грудь — оплачивает операцию. А потом, когда дочь вырастает, отец презентует еще и новую жопу. А дальше

с годами тюнинг зависит от предпочтений любовников и мужей. Таких огромных жоп они никогда и нигде не видели, Гарич восторгался, а Писатель не понимал, как с этой грудой силикона можно интимно общаться.

— Я без баб, — подытожил он. — В казино схожу...

— А мне по х... — силикон, поролон!..

Обратно в Панаму идти ломало, все же четверо суток. Они свои фантазии урезонили, продолжили нырять, стрелять рыбу, а вечерами говорили о вещах действительно сложных, религиозно-философских.

— Смысл человеческой жизни, — сказал Гарич, — в том, чтобы улучшить в себе человека. Все, с чем мы приходим в этот мир, — подарок Господа. И музыкальные таланты, и писатели, художники гениальные. Но все это им подарил Он, они поделились с другими, молодцы, — а что сделал Бетховен для себя, а Эйнштейн? Чем таким они могли улучшить в себе человека?.. Ничем! Впрочем, мысль не моя!..

— А вот слушай мою! — предложил Писатель. — Панама — цивилизованный город?..

— Вне всяких сомнений.

— Там, верно, и аэродромы местного значения имеются...

— Наверняка.

— А на них вертолеты...

Гарич все понял и попросил Марсело узнать о панамском воздушном флоте.

Через десять минут капитан доложил:

— Вертолет приземлится на этот остров в шесть утра!

Уже многие описывали встречу туземцев с искусственными летающими объектами, они лишь наслаждались воочию тем, о чем читали. Восторгами, страхом, преклонением...

То расстояние, на которое лодке требуется четверо суток, вертолет преодолевает за час десять. В восемь тридцать они уже заселились в роскошный «Трамп-отель» и несколько дней наслаждались вышеописанными мечтами, воплотившимися в жизнь. Гарич с Марсело погрузились в силиконовые россыпи сисек и гигантских жоп, а Писатель тупо проигрывал деньги в казино, сокрушаясь потом, что он тупорылый мудака и его маленький мозг не сразу дотумкал, что игровые заведения принадлежат картелям и выиграть в них невозможно... Пришлось одного дебила латиноса на хуй послать.

А потом они вернулись на территорию гуна, ныряли до посинения, ловили мальков, пили вечерами красное вино и говорили о сути пребывания души в человеческом образе в одном из виртуальных миров.

Через несколько дней Писатель уехал, а Гарич остался. Все его близкие друзья, узнав о возможно-

сти долететь до рая на вертолете, побывали на лодке, нанялись всласть и побухали прилично, а потому Гарич вернулся в Европу только весной. К этому времени Писатель отваял целую повесть, которую собирались публиковать в приличном журнале. В ней он очень живо отобразил свое сражение с белой акулой, которой вырезал ножом глаз, во второй части живописал, как застрелил двухметровую чернию, сорока килограммов весом, прямо в пасть и накормил ею весь архипелаг... А хули — Писатель, одно слово.

Они вернулись на Сан-Блас ровно через год. Сначала Гарич, а потом прилетел похудевший на двадцать килограммов Писатель, задержанный какими-то важными делами.

Плыть на Сан-Блас на лодке не пришлось, так как гуна прорубили в джунглях дорогу и трехчасовая поездка на джипе приводила их на индейские земли, которые были оборудованы примитивным пограничным контролем. Но самое главное, что гуна научились взимать туристический сбор, а до своей лодки они могли теперь добраться только на гунаялской моторке, тоже за отдельную плату. Такие законы принял парламент туземцев. Позже они узнали, что предприимчивые индейцы выделили отдельный остров, и только на нем могли садиться вертолеты, соответственно за плату. А от примитивного аэродрома до места дислокации —

частными лодками за двадцать долларов с носа. Лобстеры и крабы теперь стоили по пять долларов за штуку, и чтобы погулять ногами по маленькому милому острову с одной проживающей на нем семьей, надо было отдать по доллару с человека.

Ну поудивлялись — но это все такие мелочи по сравнению с райской благодатью, рыбалкой, подводным плаванием, кулинарными тонкостями, изысканными диалогами...

На борту трудилась новая повариха, марокканка, а Гарич спросил Писателя, помнит ли тот, как в прошлом году за ними повсюду ходила маленькая старенькая лодочка с пятидесятилетним хозяином со странными, чуть красноватыми глазами... Оказалось, ее хозяин Алесандро был влюблен в повариху Клаудиу, и зимой, когда мы были в Европе, они потихоньку сблизились, а две недели назад мы торжественно передали Клаудиу влюбленному итальянцу с борта на борт. Потому и марокканка...

— Кстати! — Гарич вытащил из пакета майку с символикой местного итальянского сообщества размером четыре икс и рассказал, что у Президенте Скилаци диагностировали в Италии рак и предложили лечение, которое могло бы продлить жизнь пожилому итальянцу с детской улыбкой на полтора-два года, а без лечения пять-семь месяцев всего давали. Президенте предпочел полгода в раю, чем два года блевать в итальянском госпитале. — Он умер две

недели назад, — сказал Гарич. — За два дня до смерти старик передал для тебя — как он сказал, для синьора Скриторе — майку. Помнишь, он обещал?..

Они провели на архипелаге два месяца, мотаясь в Панаму то на вертолете, то на джипе. Гарич на ужин приводил очередную силиконовую мечту, а Писатель влюбился в официантку из Венесуэлы, убедившись, что все в ней натуральное и превосходное. Он было решился остаться в Панаме навсегда, этаким новым Хемингуэем, но запахи родины, вьевшиеся в мозг и легкие как никотин, и оставленные дети магнитом потянули его обратно.

Еще через год на реликтовые острова индейцы стали привозить туристов, те тоже радовались, как дети, загаживая остров за островом. Их уже за двести. А потом гигантский крокодил Карл сожрал пожилую немку вместе с собачкой-левреткой и надувным кругом. Сначала все испугались такой дикости экскурсионных троп, но следующие волны туристов о том не ведали и продолжали военный поход цивилизации на незащищенный рай. Зато как был рад Карл..

В один из вечеров, ловя на сосиски каранжиков, Писатель констатировал:

— Пиздецио! Пиздецио раю!

— Именно, — согласился Гарич.

Весной, сидя на террасе римского отеля с европейскими девчонками, слегка выпивая и закусывая,

они решили, что пойдут на Сан-Блас еще раз, проделав весь путь от начала до конца. Через бандитский город Колон, четыре дня морского перехода с Островом обезьян, на котором Писатель хотел зависнуть часа на два, вооруженный фотокамерой.

— Должна же она пощелкать, чтобы в памяти отложилось навечно.

— Опустили мы рай! — констатировал Гарич.

— Но как!.. — подтвердил сказитель земли русской. — До ада.

Сказано — сделано. В январе они встретились в Нью-Йорке, потусили от души и, акклиматизировавшись, полетели в Панаму. К этому времени Президент страны итальянец Рикардо Мартинелли с помощью американцев почистил город Колон, и теперь таксисты везли в него без всяких оговорок.

Они вышли из порта тем же вечером, наутро писатель проснулся рано, разбуженный криками обезьян. Достав из кофра камеру, он спустил на воду каноэ и, ловко перебирая веслом, доплыл до кричащего и вопящего острова, вернее, до его подножия, так как берег, заросший джунглями, от самой кромки воды круто уходил вверх. Он высадился, причалил каноэ и, сделав первый шаг в сторону вершины, вдруг увидел между веток голубого паучка в паутинке с капельками утренней росы на ней... Фотографировал с разных ракурсов, улыбаясь при этом как первооткрыватель неведомых земель.

А вдруг и правда неописанный вид?! В другой жизни он мог стать энтомологом.

Он взбирался вверх по склону, раздвигая сросшиеся между собой деревья, царапая руки, отмахивался от насекомых и подумал, что надо было взять с собой мачете — которого на лодке никогда не было и видел он это оружие только в кино. Но здесь закричала в правое ухо какая-то зловредная птица, оказавшаяся попугаем жако, напугавшим Писателя до смерти. Он и его сфотографировал, даже поговорил с пернатым товарищем, типа «скажи «Fuck». Отдышавшись он продолжил путь, утирая обильный пот, стекающий в глаза.

Добравшись до вершины, делая последние шаги, он выругался:

— Блядская влажность! Сука, дышать нечем!

А когда встал в рост и пошире открыл глаза, то увидел вовсе не маленький островок с милыми обезьянками, а огромное круглое плато внизу, простирающееся почти до горизонта. С вершины по кругу шла дорога, такие обычно образуются в огромных карьерах, террасами они спускались к центру плато. На всех этих террасах были установлены гигантские клетки со всеми экзотическими животными, которых он когда-либо видел. В клетках содержались африканские слоны и качали головами великолепные грациозные жирафы, медведи гималайские огрызались, какие-то еще, ему неизвест-



ные, виды медведей ревели, а белые арктические, сидящие по горло в бассейне жрали разбросанную рыбу. Некоторые клетки были забиты птицами, в основном разномастными попугаями, орущими на все голоса, которые они с Гаричем приняли за обезьяньи крики. Здесь были волки разных мастей, воюющие на незваного гостя, тьявкающие гиены, пантеры и ягуары, даже амурские тигры... Казалось, все обитатели этого гигантского зоопарка глазели на новый экспонат, издавая какофонию звуков.

Писатель обернулся и увидел в метре от себя абсолютно голого человека с бритой головой, совершенно не похожего на туземца гуна — скорее на таитянина с раскосыми глазами и черными бровями. В руках он держал ружье с шестигранным стволом, казалось из прошлого, из восемнадцатого века, и самое главное — антикварное дуло смотрело прямо ему в лицо.

Писателю стало необыкновенно страшно, но он умел держать себя в руках, а потому сказал сначала по-русски:

— Я здесь случайно! — а потом, поглаживая фотокамеру, продолжил: — Туристо, русо туристо! Порфаворе!

Невозмутимый туземец опустил ружье и выстрелил незваному гостю в колено. Писатель рухнул на землю, испытав нечеловеческую боль, от которой через несколько секунд лишился сознания.

Он очнулся на операционном столе с отрезанной выше колена правой ногой, попытался было пошевелить руками, но удалось это сделать только правой. Левая отсутствовала почти до плеча. Культы были аккуратно перебинтованы, даже кровь через повязки не проступала.

— Ни хуя себе! — прошептал российский турист.

А потом появились вооруженные люди, похожие на мексиканцев или пуэрториканцев.

Один из них посмотрел на «пациента» и сообщил по-испански:

— Lo conozco, jugó en nuestro casino!

Писатель понял только одно слово и вспомнил, где видел лицо говорившего. Три года назад в панамском казино. Тогда человек с лицом убийцы после большого проигрыша клиента на английском предложил в качестве компенсации оплатить игроку расходы по отелю. Ну тогда, конечно, Писатель вежливо попросил его отъебаться со своей милостью. И сейчас он неожиданно пересохшими голосовыми связками прохрипел:

— Fuck off! Ай эм рашен скриторе... Райтер! Эскритор! Писатель, блядь!

— Эскритор, эскритор?

...Когда на лодке поняли, что Писатель пропал, да еще этот выстрел, капитан Марсело кинулся к радио вызывать подмогу. Но ни радио, ни мобильные телефоны, даже спутниковая связь не работали.

— Глушилки стоят! — предположил Гарич.

Они посмотрели на карту, но острова по правую руку, на который ушел любопытный Писатель, не нашли. Только вода. Обезьяний остров находился слева в двух часах пути. И Гарич, и Марсело видели и испытали в жизни всякое. Гарич бурно пожил на юге России в кровавые девяностые, ну а капитан Марсело, несколько раз переживший морские крушения, специалист мирового класса по выживанию — тот действительно в молодости пырнул акулу ножом в глаз, тем и спасся от верной гибели. Будучи до мозга костей мужиками с брутальными характерами, они сошлись стальными стержнями пятнадцать лет назад и все эти годы дышали в унисон и мыслили в экстремальных ситуациях одинаково.

Гарич вытащил длинный поварской нож, засунул его в рукав рубахи лезвием к ладони, а Марсело вооружился длинным багром и сигнальной ракетницей. Они уже уселись в тендер и завели мотор, когда с берега раздалась предупреждающая автоматная очередь. Будто камешки пули попадали вдоль борта тендера. А потом голос, усиленный мегафоном, на испанском приказал оставаться на лодке до следующего утра...

Ночью они не спали, просто молча сидели, иногда проверяя, не появилась ли связь. Лишь два слова по-русски произнес Гарич:

— Ебанный рай!..

Наутро с холма спустилась дюжина вооруженных людей, с ними два голых индейца сносили к воде носилки с изувеченным Писателем. Марсело пообщался с одним из них, скорее всего главным, по-испански. Говорили минут семь, после чего еще не пришедшего в себя Писателя переложили в тендер и разрешили лодке уходить.

Парусник развернулся и пошел на моторах обратно в порт Колона.

— Они сказали, что ввели Эскритору обезболивающее, — пояснил Марсело. — И снотворное. Сказали, что через полчаса появится связь, что мы можем вызвать спасательный вертолет.

— Твари, — отозвался Гарич. — Сказали за что?

— Ногу отрезали в предупреждение другим, чтобы не ходили в те места, которых нет на карте. А левую руку отсекали просто для диагонали. Нога правая, рука левая — симметрично...

— Эстеты, — признал Гарич.

— А еще приглашали Писателя приезжать в казино. Там для него организуют все по высшему разряду... Только пусть обидных слов больше не говорит!..

Писатель провалялся в Панаме в американском госпитале почти два месяца. В это время Гарич и Марсело пытались прояснить ситуацию, но ни специальные службы Панамы, ни цэрэушники

вмешиваться не хотели. Если бы пострадавший был американцем — тогда... Главный врач госпиталя рассказал, что остров принадлежит антокийскому наркокартелю, одному из самых жестоких сообществ Колумбии. А зоопарк на нем — собственность мистера Альболате, миллиардера и филантропа... Странно, что русского оставили в живых и отпустили. Наверное, думают, что writer что-нибудь напишет для предупреждения...

Долечивался Писатель в Милане. Там ему собрали отличную коляску с электроприводом, так как на костылях ходить было невозможно по причине диагонально отрезанных конечностей. Пока там культия к протезу привыкнет...

— Зато член стоит лучше! — похвастался сказитель, смакуя разлитое по бокалам «Монтепульчано». — Могу трех за ночь!

— Это с чего? — удивился Гарич.

— Из-за более активного притока крови! Теперь две конечности в ней не нуждаются. Однако в минусе двадцать пять процентов плоти и кости! Без плохого нет хорошего...

А потом Писатель уехал на родину, к своим запахам и детям. Перед Новым годом он написал эсэмэску Гаричу, что ампутация ему вышла наказанием сверху за то, что, блядь, на вертолете полетать захотелось. За засранный рай ответка!.. Зато, опять нет худа без добра, он написал бестселлер, который

купили двадцать две страны. И Голливуд опцион на фильм приобрел...

«О чем бестселлер?» — поинтересовался Гарич.

«Обо мне. Как я боролся с наркокартелем. Документальная книга. О тебе там тоже немножечко есть». — И смайлик с улыбочкой в конце.

Позже Гарич сообщил Марсело, что Писатель полностью выздоровел.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

**Липскеров Дмитрий Михайлович**

**ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР В РАЙ**

Ответственный редактор *Ю. Селиванова*

Младший редактор *И. Кузнецова*

Художественный редактор *Е. Окольцина*

Технический редактор *О. Лёвкин*

Компьютерная верстка *А. Москаленко*

**ООО «Издательство «Эксмо»**

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru).

Тауар белгісі: «Эксмо»

**Интернет-магазин** : [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

**Интернет-дүкен** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 18.12.2018. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Гарнитура «Lazurski». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-100016-5



9 785041 000165 >



В электронном виде книги издательства вы можете  
купить на [www.litres.ru](http://www.litres.ru)

**ЛитРес:**  
идем вместе до восток!



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо», 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: [international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

*International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*

[international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном  
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

E-mail: [ivanova.ey@eksmo.ru](mailto:ivanova.ey@eksmo.ru)

Оптовая торговля бумажно-беловыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный),  
e-mail: [kanc@eksmo-sale.ru](mailto:kanc@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanc-eksmo.ru](http://www.kanc-eksmo.ru)

**В Санкт-Петербурге:** в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.  
Тел.: +7 (812) 601-0-601, [www.bookvoed.ru](http://www.bookvoed.ru)

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

**Москва.** ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**Нижний Новгород.** Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,  
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: [reception@eksmonn.ru](mailto:reception@eksmonn.ru)

**Санкт-Петербург.** ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,  
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: [server@szko.ru](mailto:server@szko.ru)

**Екатеринбург.** Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбург. Адрес: 620024,  
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ш. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).

E-mail: [petrova.ea@ekat.eksmo.ru](mailto:petrova.ea@ekat.eksmo.ru)

**Самара.** Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре.

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».

Телефон: +7 (846) 207-55-50. E-mail: [RDC-samara@mail.ru](mailto:RDC-samara@mail.ru)

**Ростов-на-Дону.** Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростов-на-Дону. Адрес: 344023,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7 (863) 303-62-10. E-mail: [info@rnd.eksmo.ru](mailto:info@rnd.eksmo.ru)

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростов-на-Дону. Адрес: 344023,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.

Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: [rostov.mag@rnd.eksmo.ru](mailto:rostov.mag@rnd.eksmo.ru)

**Новосибирск.** Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске. Адрес: 630015,  
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7 (383) 289-91-42. E-mail: [eksmo-nsk@yandex.ru](mailto:eksmo-nsk@yandex.ru)

**Хабаровск.** Обособленное подразделение в г. Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,  
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7 (4212) 910-120. E-mail: [eksmo-khv@mail.ru](mailto:eksmo-khv@mail.ru)

**Тюмень.** Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени.

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алябашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).

Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98. E-mail: [eksmo-tumen@mail.ru](mailto:eksmo-tumen@mail.ru)

**Краснодар.** ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01 (02).

**Республика Беларусь.** ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си». Центр оптово-розничных продаж

Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,

пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92.

Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: [exmoast@yandex.by](mailto:exmoast@yandex.by)

**Казахстан.** РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».

Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91, 92). E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

**Интернет-магазин:** [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

**Украина.** ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.

Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: [sales@forsukraine.com](mailto:sales@forsukraine.com)

**Полный ассортимент продукции Издательства «Эксмо» можно приобрести в книжных  
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине [www.chitalai-gorod.ru](http://www.chitalai-gorod.ru).**

Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

[www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: [imarket@eksmo-sale.ru](mailto:imarket@eksmo-sale.ru)



ЕКСМО.РУ  
новинки издательства

